

ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЗБУКА»



ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Полное
собрание
рассказов

Владимир Набоков
Полное собрание рассказов

«Азбука-Аттикус»

Набоков В. В.

Полное собрание рассказов / В. В. Набоков — «Азбука-Аттикус»,

ISBN 978-5-389-08436-0

Полное собрание русских и английских рассказов крупнейшего писателя XX века Владимира Набокова в России издается впервые. Подготовленный в 1995 году сыном писателя, Дмитрием Набоковым, английский том короткой прозы Набокова хорошо известен на Западе. Однако по-русски, на «ничем не стесненном, богатом, бесконечно послушном» языке, на котором Набоков написал большую часть своих рассказов, книга до сих пор издана не была. Благодаря многолетней работе исследователей Набокова под одной обложкой удалось собрать все шестьдесят восемь рассказов, написанных им в 1920–1951 годах в европейской эмиграции и Америке. Многие из них стали событием еще при жизни автора и были переведены на все основные мировые языки. В книге, которую читатель держит в руках, представлены также редкие и неизвестные произведения мастера. Рассказы «Говорят по-русски», «Звуки» и «Боги», подготовленные к публикации по архивным текстам, на русском языке выходят впервые. Английские рассказы Набокова, печатавшиеся в лучших журналах США и предвосхитившие появление прославивших его романов «Лолита», «Пнин», «Бледный огонь», в настоящем издании представлены в новой редакции переводов Геннадия Барабтарло. Полное собрание рассказов сопровождается предисловием и примечаниями Дмитрия Набокова, заметками Владимира Набокова, а также примечаниями редактора.

ISBN 978-5-389-08436-0

© Набоков В. В.
© Азбука-Аттикус

Содержание

Предисловие	7
Рассказы, публикуемые впервые	13
Говорят по-русски	13
Звуки	18
Боги	26
Рассказы, написанные по-русски	30
Нежить	30
Слово	32
Удар крыла	34
Мечь	46
Благость	50
Порт	53
Случайность	57
Картофельный Эльф	62
Пасхальный дождь	74
Катастрофа	78
Гроза	82
Наташа	84
Венецианка	91
Бахман	107
Дракон	112
Рождество	115
Письмо в Россию	119
Драка	121
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Владимир Набоков

Полное собрание рассказов

THE STORIES OF VLADIMIR NABOKOV

Copyright © 1965, 1966, Article 3C under the Will of Vladimir Nabokov

All rights reserved, including the right of reproduction in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with the Estate of Vladimir Nabokov.

Редактор Андрей Бабилов

Рассказы «Говорят по-русски», «Звуки», «Боги» и «Наташа» подготовлены по архивным текстам к первой публикации А. Бабиловым, последний – при участии Г. Барабтарло

© А. Бабилов, составление, подготовка текста, примечания, 2014

© Г. Барабтарло, перевод, примечания, 2001, 2014

© Е. Петрова, перевод, 2014

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014

Издательство АЗБУКА®

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

* * *

Предисловие

1

Печатавшиеся ранее по отдельности в повременных изданиях и вошедшие – в тех или иных сочетаниях – в предыдущие сборники, пятьдесят два рассказа Владимира Набокова составили четыре дефинитивных тома, выпущенных при жизни автора: «Nabokov's Dozen» [«Набокова дюжина»] и три другие «дюжины», по тринадцати рассказов в каждой: «A Russian Beauty and Other Stories» [«Красавица»], «Tyrants Destroyed and Other Stories» [«Истребление тиранов»] и «Details of a Sunset and Other Stories» [«Подробности заката»].

Долгое время Набоков высказывал намерение издать еще одну, последнюю «порцию» рассказов, но не был уверен, что у него наберется довольно сочинений, отвечающих его требованиям, которые могли бы составить пятую набоковскую – или же обычную – дюжину. Его писательская жизнь была столь насыщенной и оборвалась столь внезапно, что произвести окончательный смотр он не успел. Набросав краткий карандашный перечень рассказов, достойных, с его точки зрения, выхода в свет, он озаглавил его так: «Со дна жестянки». Как он мне объяснил, это относилось не к качеству рассказов, а единственно к тому обстоятельству, что среди произведений, готовых к рассмотрению в тот период, эти оказались последними, заслуживающими публикации. Тем не менее, после того как наш архив был упорядочен и скрупулезно проверен, мы с Верой Набоковой пришли к счастливому общему числу тринадцать – все эти произведения, по нашим осторожным оценкам, Набоков мог бы посчитать приемлемыми. Таким образом, набоковский перечень «Со дна жестянки», помещенный в конце этого предисловия, следует считать неполным и предварительным: в нем значатся только восемь из тринадцати впервые публикуемых рассказов, а помимо этого еще «Волшебник», не включенный в настоящее издание, но выпущенный на английском языке отдельной книгой как короткий роман в 1991 году.

Из списка, помеченного «Рассказы, написанные по-английски», также воспроизведенного после этого предисловия, Набоковым исключена «Первая любовь» (впервые опубликованная под названием «Colette» [«Колетт»] в журнале «Нью-Йоркер») – то ли по недосмотру, то ли по той причине, что это произведение преобразовалось в главу книги «Свидетельствуй, память» (первоначально названной «Убедительное доказательство»). В верхнем левом углу списка имеются указания по оформлению текста, которые позволяют предположить (несмотря на то что сделаны они по-русски), что список этот был чистовым вариантом, подготовленным для машинописи. В обоих факсимильных списках есть некоторые неточности. Например, рассказ «Сестры Вэйн» был написан в 1951 году.

Рассказы, включенные в четыре упомянутых «дефинитивных» издания, были с великим тщанием подобраны и композиционно расположены самим Набоковым с учетом различных критериев, таких как тема, время сочинения, атмосфера, однородность, разнообразие. Здесь следует указать, что и в последующих переизданиях каждый рассказ должен сохранять свое «книжное» место. Быть может, заслуживает права на отдельное англоязычное издание и книга из тринадцати рассказов, озаглавленная по одному из них, – «Венецианка» и известная во Франции и Италии как «La Vénitienne» и «La veneziana» соответственно. В европейских странах эти тринадцать рассказов выходили и в сборниках, и по отдельности, а предыдущие четыре «дюжины» разошлись по всему миру, и подчас весьма произвольными созвездиями,

¹ Предисловие Дмитрия Набокова (1934–2012) для подготовленного им первого английского собрания рассказов Набокова (1995), легшего в основу настоящего издания. Перевод выполнен по новому, дополненному изданию: *The Stories of Vladimir Nabokov*. Vintage Books, 2008. – *Прим. ред.*

как, например, недавно изданная в Израиле «Русская дюжина». О публикациях в пост-перестроечной России даже не хочу говорить: до недавнего времени там, за редкими исключениями, буйно цвело колоссальных масштабов пиратство (во всех смыслах), хотя теперь на горизонте забрезжили перемены к лучшему.

Настоящее полное собрание рассказов, не имеющее своей целью композиционно затмить предыдущие сборники, тщательно выстроено по хронологическому принципу, во всяком случае, насколько это было возможно. Посему кое-где пришлось изменить принятый в более ранних изданиях порядок следования рассказов, а в ряде случаев – включить в соответствующие места впервые помещаемое произведение. Мерилом для составления настоящего собрания послужило время сочинения того или иного рассказа. В тех же случаях, когда точная датировка оказывалась невозможной или спорной, учитывалась дата первой публикации или другие упоминания². Одиннадцать из публикуемых впервые тринадцати рассказов прежде не переводились на английский язык. Из них пять рассказов увидели свет лишь в недавних изданиях «новых» тринадцати на различных европейских языках. В конце настоящего собрания приводятся дополнительные библиографические сведения и некоторые другие любопытные подробности.

Одним из очевидных преимуществ нового расположения рассказов является удобство в обозрении совершенствования Набокова как беллетриста. Примечательно также, что векторы его творческого роста не всегда линейны: среди ранних, подчас незамысловатых рассказов порой сверкнет поразительно зрелая вещь. Пролывая свет на эволюцию творческого процесса и давая увлекательные примеры овладения темами и приемами, которые будут использоваться позднее, особенно в романах, рассказы Владимира Набокова при этом находятся среди его самых непосредственно доступных сочинений. Даже в тех случаях, когда они в той или иной мере сохраняют связь с более крупными произведениями, рассказы эти самодостаточны. Даже когда их отличает многоуровневость прочтений, они требуют только нескольких литературных предпосылок. Они без всяких оговорок предлагают читателю вознаграждение, независимо от того, отважился ли он или нет уйти с головой в более крупные и глубокие произведения Набокова или погрузиться в его биографию.

За переводы «новых» тринадцати несу ответственность я один. До этого английские переводы почти всех рассказов, первоначально опубликованных на русском языке, были результатом безоблачного сотрудничества между отцом и сыном, но отец, как автор, мог свободно вносить изменения в переведенные тексты, что он подчас и делал, если полагал это необходимым. Можно предположить, что он поступил бы так же и с этими новыми переводами. Излишне говорить, что я, как единственный переводчик, брал на себя смелость исправлять лишь явные описки или опечатки, а также недочеты редактирования, оставшиеся от прежних времен. Наиболее серьезной из таких погрешностей оказался пропуск – целиком – великолепной заключительной страницы рассказа «Ассистент режиссера» во всех англоязычных изданиях, следующих, по-видимому, самому первому. Кстати, герой той песни, что дважды струится в рассказе, – это Стенька Разин, донской казак, бросивший в Волгу свою невесту.

Не скрою, на протяжении длительного времени, вынашивая это собрание, я не оставил без внимания уточнения и комментарии дотошных переводчиков и редакторов недавно вышедших и готовившихся в это время переводов рассказов на другие языки, а также въедливые замечания тех, кто выпустил некоторые рассказы по-английски. Но как бы ревностно и педантично ни изучались тексты, какая-нибудь неуловимая мелкая рыбешка, а то и не одна, неизбежно проскользнет сквозь звенья невода. Тем не менее будущим редакторам и перевод-

² В 1995 году, когда впервые вышло собрание рассказов Набокова, еще не была закончена исследовательская работа по уточнению набоковской библиографии, вследствие чего некоторые рассказы были датированы неверно и помещены в книге с нарушением хронологии или ошибочными датировками. В помещаемых нами в конце книги примечаниях эти неточности исправлены. – *Прим. ред.*

чикам следует учесть, что это собрание представляет наиболее точные версии не только английских переводов, но и – в первую очередь это касается тринадцати впервые публикуемых рассказов – русских подлинников (их расшифровка подчас представляла немалую трудность: в них встречаются, с одной стороны, возможные или вероятные опiski автора или переписчика, требовавшие непростых решений, а порой – различные текстовые варианты).

Справедливости ради я бы хотел с благодарностью отметить довольно неожиданно присланные мне предварительные переводы двух рассказов. Один прислал Чарльз Николь, другой – Геннадий Барабтарло. Оба перевода были оценены по достоинству; оба содержали *trouvailles*³. Однако в целях достижения необходимого стилистического единства я, как правило, не отступал от собственной английской манеры изложения. Я признателен Брайану Бойду, Дитеру Циммеру и Майклу Джулиару за их неоценимые библиографические разыскания. Но превыше всего я благодарен Вере Набоковой за ее бесконечную мудрость и необыкновенную проникаемость и за силу воли, благодаря которой она, несмотря на слабеющее зрение и непослушные руки, выполнила в самые последние дни своей жизни начальный перевод нескольких абзацев рассказа «Боги».

В кратком предисловии невозможно охватить темы, приемы и образы, которые переплетаются и развиваются в этих рассказах: воспоминания юных лет Набокова, прошедших в России; его университетские годы в Англии; его жизнь в Германии и Франции и, конечно, Америка, которую он, по его собственному выражению, вынужден был вновь изобрести после изобретения Европы. Рассказ, взятый наугад из тех тринадцати, что впервые публикуются в этом собрании, «Венецианка», с его неожиданным поворотом сюжета, свидетельствует об увлечении Набокова живописью (в отрочестве он хотел посвятить ей свою жизнь), раскрываемая на богатом фоне, где есть и игра в теннис, которую он любил и описывал с особым вкусом. Гамма остальных двенадцати рассказов варьируется от притчи («Дракон») и политической интриги («Говорят по-русски») до поэтического, его собственного вида импрессионизма («Звуки» и «Боги»).

В своих примечаниях (также помещенных в этом томе) Набоков вскрывает некоторые особенности рассказов, вошедших в предыдущие сборники. Среди многого другого, к этому можно добавить жуткое раздвоение пространства-времени («*Terra Incognita*» и «Посещение музея»), которое предвеляет атмосферу таких произведений, как «Ада», «Бледный огонь» и, в определенной степени, «Сквозняк из прошлого»⁴ и «Взгляни на арлекинов!». Увлечение Набокова бабочками становится ведущей темой «Пилыграма» и сквозит во множестве других рассказов. Но что еще удивительнее, важное место в его сочинениях занимает музыка («Звуки», «Бахман», «Музыка», «Ассистент режиссера»), хотя он никогда не обнаруживал к ней особого пристрастия.

Особенно трогающий меня рассказ «Ланс» возвышенно описывает (как отец сказал мне) всю остроту и многообразие чувств, которые переживали мои родители в пору моего увлечения альпинизмом. Но, возможно, самая глубокая, самая важная для Набокова тема, будь то сюжетная основа или подтекст, – это неприятие жестокости: жестокости людей, жестокости судьбы; и в этой книге примеров тому великое множество.

*Дмитрий Набоков
Санкт-Петербург, Россия; Монтрё, Швейцария.
Июнь 1995 г.*

³ Находки, удачные решения (*фр.*).

⁴ Бывшее в ходу у Набоковых (на что указывает Г. Барабтарло) русское название романа «*Transparent Things*» (букв.: «Прозрачные вещи», 1972), по строке из стихотворения Набокова 1930 г. «Будущему читателю»: «Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк / из прошлого...» – *Прим. ред.*

История с находкой рассказа «Пасхальный дождь», теперь добавленного к настоящему изданию, изложена в примечании Георга Хепе, шеф-редактора гамбургского издательства «Rowohlt Verlag». Вот что он в частности об этом пишет:

«В 1987–1988 годах, когда мы готовили первое немецкое издание полного собрания рассказов, исследователь Набокова Дитер Циммер проверил все доступные библиотеки, как многообещающие, так и почти безнадежные, разыскивая апрельский номер эмигрантской газеты „Русское эхо“ за 1925 год, в котором, как он знал, был напечатан „Пасхальный дождь“. По однодневному пропуску он съездил даже в тогдашний Восточный Берлин, а кроме того, подумывал о посещении Deutsche Bücherei⁵ в Лейпциге. Но надежда была слишком призрачной, а бюрократические препоны слишком неприступными. Было и еще одно соображение. Там могло не оказаться копировальной машины.

Когда мы уже опубликовали эти рассказы без „Пасхального дождя“, до нас дошли слухи, что некий ученый из Швеции обнаружил рассказ в Лейпциге. К тому времени „железный занавес“ рассыпался, и Циммер отправился проверить сообщение. И вот он был перед нами – полный комплект еженедельника „Русское эхо“. А „ксероксы“ тогда уже стояли повсюду».

Так «Пасхальный дождь», обнаруженный Светланой Польской, хотя ее имя стало нам известно лишь несколько лет спустя, и переведенный мною на английский в соавторстве с Питером Константайном для весеннего номера журнала «Conjunctions» за 2002 год, нашел свое место в этом томе.

Дмитрий Набоков

Вева, Швейцария. Май 2002 г.

Русский текст «Слова» впервые попал в поле моего зрения весной 2005 года; рассказ этот столь пронзительно эмоционален, что я, прежде чем приступить к переводу, вынужден был подавить в себе некоторые сомнения относительно его подлинности. Это был второй рассказ, опубликованный моим отцом, и первый, опубликованный после убийства его отца и моего деда, В. Д. Набокова, в 1922 году; написанный в Берлине, он был напечатан в 1923 году в одном из январских номеров «Руля» – русской эмигрантской газеты, соиздателем которой в Берлине был его отец. Как и «Ultima Thule», написанный годы спустя, рассказ «Слово» содержит всеобъясняющую тайну, узнать которую нам не дано. Подобно «Нежити» и одному из ранних стихотворений, озаглавленному «Революция», «Слово» проецирует идиллический, добрый мир на варварскую реальность, зловеще означенную местом этого произведения на страницах «Руля»: рассказ Набокова помещен следом за неоконченным фрагментом, вышедшим из-под пера его отца.

Кроме того, «Слово» принадлежит к очень немногим рассказам Набокова, в которых действуют ангелы. Это, конечно, сугубо личные воплощения, куда более тесно связанные с ангелами преданий, фантазий и фресок, нежели с традиционными ангелами русского православия. Несомненно также и то, что религиозные символы крайне редко возникали в произведениях Набокова после гибели его отца (см. рассказ «Удар крыла», где фигурирует ангел совершенно иного рода). Простосердечная восторженность «Слова» сквозит и в более поздних вещах моего отца, но лишь мимолетно, применительно к иному миру, который Набоков мог обозначить только намеками. Впрочем, он сам объяснял, что не смог бы сказать столь многого, не зная он больше, чем говорил.

Дмитрий Набоков

Монтрё, Швейцария. Январь 2006 г.

⁵ Немецкая национальная библиотека (нем.).

Летом 2006 года русский ученый Андрей Бабилов убедил меня, что «Наташа», неопубликованный рассказ, написанный около 1924 года и сосланный Набоковым в архив Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне, округ Колумбия, заслуживает освобождения. Мой первоначальный перевод этого рассказа был выполнен на итальянский; он появился 22 сентября 2007 года в «Io Donna», приложении к газете «Corriere della Sera», а позднее – в толстом томе рассказов Набокова «Una Bellezza Russa e Altri Racconti»⁶, вышедшем в издательстве «Adelphi» весной 2008 года. Мой английский перевод был напечатан в «Нью-Йоркере» 9 июня 2008 года, а теперь включен в это издание.

Дмитрий Набоков
Июнь 2008 г.

[Bottom of the Barrel]

<u>The Wingshake</u>	(Udar kigla, 1924)
<u>Vengeance</u>	(Mest', 1924)
	(Blagost', 1924)
<u>The Seaport</u>	(Port, 1924)
<u>Gods</u>	(Bogi, 1924)
<u>The Fight</u>	(Draka, 1924)
<u>The Razor</u>	(Britva, 1926)
<u>Christmas Tale</u>	(Rozhdestvenskiy rasskaz, 1928)
<u>The Enchanter</u>	(Volshebnik, 1939)
	[unpublished]

⁶ «Красавица и другие рассказы» (ит.).

Stories written in English

- 1 The Assistant Producer, 1943
[missing last page]
^{in N's Dozen}
See A. Appel
- 2 That in Aleppo Once, 1943
- 3 A Forgotten Part, 1944
- 4 Time and Ebb, 1945
- 5 Conversation Piece 1945
- 6 Signs and Symbols 1948
- 7 Lance 1952
- 8 Scenes from the Life of a Double Monster 1958
- 9 The Vane Sisters 1959

Рассказы, публикуемые впервые

Говорят по-русски

Табачная лавка Мартын Мартыныча помещается в угловом доме. Недаром табачные лавки питают пристрастие к углам: Мартын Мартыныч торгует бойко. Витрина невелика, но хорошо устроена. Небольшие зеркала оживляют выставку. Внизу, в ухабах голубого бархата, пестреют коробки папирос с названиями на том лощеном международном наречии, которое служит и для названий гостиниц; а повыше в своих легких ящиках скалятся ряды сигар.

В свое время Мартын Мартыныч был благополучный помещик: он знаменит в моих детских воспоминаниях диковинным трактором. А с его сыном Петей мы вместе болели Майн Ридом и скарлатиной, так что теперь, спустя пятнадцать всякой всячиной набитых лет, мне приятно было заходить в табачную лавку на бойком углу, где торговал Мартын Мартыныч.

Впрочем, начиная с прошлого года не одни только воспоминания связывают нас. Есть у Мартына Мартыныча тайна, и в эту тайну я посвящен. «Ну что, все по-прежнему?» – шепотом спрашиваю я, и он так же тихо, с оглядкой отвечает: «Да, слава Богу, все спокойно». Эта тайна совершенно неслыханная. А началось-то с такого пустяка!..

Помню, я уезжал в Париж и накануне отъезда просидел до вечера у Мартына Мартыныча. Душу человека можно сравнить с универсальным магазином, у которого две витрины – глаза. Судя по глазам Мартына Мартыныча, в моде были теплые, коричневые оттенки; судя по его глазам, товары в его душе были прекрасного качества. А какая густая борода, так и блистающая русской крепкой сединой... А плечи, рост, повадка... Некогда шла про него молва, что будто он шашкой разрубает на воздухе платок: подвиг Львиного Сердца! Теперь свой брат, эмигрант, говаривал с завистью: «Не сдал человек!»

Жена его была пухлая, ласковая старуха с бородавкой у левой ноздри. Со времен революционных мытарств у нее на лице жил трогательный тик: она быстро косилась на небо. Петя был того же здоровенного склада, как и отец. Мне нравилась его мягкая сумрачность и неожиданный юмор. У него было большое рыхлое лицо, о котором отец говорил: «Экая морда, в три дня не обойдешь», и рыжевато-русые, всегда взлохмаченные волосы. Пете принадлежал в нелюдной части города крохотный кинематограф, дававший очень скромный доход. Вот и вся семья.

Тот день накануне отъезда, который я провел, сидя у прилавка и глядя, как Мартын Мартыныч принимает покупателей: слегка двумя пальцами обопрется о прилавок, потом шагнет к полке, выплеснет коробку и спросит, ногтем большого пальца вскрывая ее: «Айне раухен?» – тот день мне запомнился вот почему: вдруг с улицы вошел Петя, лохматый и темный от бешенства. Племянница Мартына Мартыныча собралась вернуться к матери в Москву, и Петя только что ходил в представительство. Пока один представитель давал ему справку, другой, явно имевший отношение к политическому управлению государством, едва слышно прошептал: «...шляется всякая белогвардейская шваль...»

«Я бы мог из него сделать кашу, – сказал Петя, хлопнув кулаком о ладонь, – но, к сожалению, вспомнил тетю в Москве».

«Кое-какие грешки у тебя на душе уже имеются», – мягко громыхнул Мартын Мартыныч. Он намекал на чрезвычайно забавный случай. Не так давно, в день своего ангела, Петя отправился в советский книжный магазин, который портит своим присутствием одну из прелестнейших берлинских улиц. Там продаются не только книги, но и всякие кустарные вещицы. Петя выбрал молоток, разрисованный маками и украшенный соответственной для большевистского молотка надписью. Приказчик осведомился, не угодно ли ему еще чего купить? Петя сказал: «Да, угодно» – и кивнул по направлению небольшого гипсового бюста господина Улья-

нова. За бюст и за молоток он заплатил пятнадцать марок и затем, ни слова не говоря, тут же на прилавке кокнул этим молотком по этому бюсту, да так, что господин Ульянов рассыпался.

Я любил этот рассказ, как любишь, например, милые прибаутки незабвенного детства, от которых делается тепло на душе. При словах Мартын Мартыныча я со смехом поглядел на Петю. Но Петя угрюмо двинул плечами и насупился. Мартын Мартыныч, порывшись в ящике, поднес ему самую дорогую папиросу в лавке. Однако Петя и тут не прояснился.

В Берлин я вернулся через полгода. Как-то воскресным утром меня потянуло к Мартын Мартынычу. В будни можно было пройти к нему через лавку, так как прямо за ней находилась его квартирка: три комнаты и кухня. Но, конечно, в то воскресное утро лавка была заперта, и витрина опустила свое решетчатое забрало. Я мельком взглянул сквозь решетку на красные и золотые коробки, на смуглые сигары, на скромную надпись в углу: «Говорят по-русски», подумал, что выставка стала как-то еще веселее, и прошел через двор к Мартын Мартынычу. Странное дело – и сам Мартын Мартыныч показался мне еще более веселым, бодрым, ясным, чем раньше. А Петю так и узнать нельзя было: его жирные лохмы были зачесаны назад, широкая, слегка застенчивая улыбка не покидала его губ, он был насыщенно молчалив, и какая-то радостная озабоченность, словно он нес в себе ценный груз, смягчала все его движенья. Одна только мать была так же бледна, как прежде, и тот же трогательный тик легкой зарницей мигал по ее лицу. Мы сидели в их опрятной гостиной, и я знал, что остальные две комнаты – Петина спальня и спальня его родителей – такие же уютные и чистые, и эта мысль была мне приятна. Я пил чай с лимоном, слушал мягкий говор Мартын Мартыныча и не мог отделаться от впечатления, что в их квартире появилось что-то новое, какой-то веселый таинственный трепет, как, скажем, бывает в доме, где есть молодая роженица. Раза два Мартын Мартыныч озабоченно поглядывал на сына, и тот сразу поднимался, выходил из комнаты, а по возвращении легонько кивал отцу: все, дескать, обстоит отлично.

Нечто новое и для меня загадочное было и в разговоре старика. Говорили мы о Париже, о французах, и вдруг он спрашивает: «А скажите, голубчик, какая самая большая тюрьма в Париже?» Я ответил, что не знаю, и стал рассказывать об одном тамошнем обозрении, где появляются дамы, выкрашенные в синий цвет. «Это еще что! – перебил меня Мартын Мартыныч. – Вот, например, говорят, что женщины в тюрьмах царапают штукатурку и ею белят себе щеки или, там, шею». В подтверждение своих слов он принес из своей спальни толстый том немецкого криминалиста и отыскал в нем главу о тюремном житье-бытье. Я попробовал переменить разговор, но какую бы тему я ни избирал, Мартын Мартыныч искусными поворотами подвигал ее так, что мы вдруг оказывались рассуждающими о человечности бессрочного заключения по сравнению с казнью или о хитрых способах, которые придумывает преступник, чтобы вырваться на вольный свет.

Я недоумевал. Петя, обожавший всякие механизмы, ковырял перочинным ножом в пружинках своих часов и тихо посмеивался. Его мать вышивала, изредка подталкивая ко мне то сухари, то варенье. Мартын Мартыныч, всей пятерней впившись в свою растрепанную бороду, искоса сверкнул на меня рыжим глазом, и вдруг что-то в нем прорвалось. Он бухнул ладонью о стол и обратился к сыну: «Не могу больше, Петя, все ему расскажу. Иначе лопну». Петя молча кивнул. Жена Мартын Мартыныча встала, чтобы пойти на кухню, и ласково покачала головой: «Какой ты, однако, болтун». Мартын Мартыныч положил руку мне на плечо, тряхнул меня так, что, будь я садовой яблоней, с меня бы яблоки так и посыпались, – и заглянул мне в лицо. «Предупреждаю вас, – сказал он, – я сообщу вам такую тайну, такую тайну... что уж прям не знаю. Смотрите же – молчок! Поняли?»

И, близко наклонившись ко мне, обдавая меня запахом табаку и собственным крепким старческим душком, Мартын Мартыныч мне рассказал поистине замечательную историю⁷.

⁷ Прим. авт. В этой истории, разумеется, все черты и приметы, могущие дать намек на настоящего Мартын Мартыныча,

«Это случилось, – начал Мартын Мартыныч, – вскоре после вашего отъезда. Зашел покупатель. Он, видно, не заметил надписи в окне – обратился ко мне по-немецки. Подчеркнем это: если бы он надпись заметил, то в мою эмигрантскую лавчонку бы не зашел. Я сразу признал в нем русского, по прононсу. Да и рожа у него тоже была русская. Я, конечно, пустил в ход родной язык, спросил, там, в какую цену, какой сорт. Он неприятно удивился, посмотрел как-то так на меня, довольно нахально сказал: „Отчего это вы решили, что я русский?“ Я что-то ответил, вполне, кажется, добродушно, и стал отсчитывать для него папиросы. В эту минуту вошел Петя. Он увидел моего покупателя и совершенно спокойно сказал: „Вот это приятная встреча“. Затем мой Петя к нему подходит вплотную и кулачищем трах по скуле. Тот застыл. Как мне потом Петя объяснил, вышел не просто нокаут, когда человек сразу плюхается на пол, а нокаут особенный: Петя, оказывается, ударил с оттяжкой, и тот, стоя, уснул. И как будто стоя спит. Затем он стал медленно клониться назад, как башня. Тут Петя зашел сзади него и подхватил под мышки. Все это было крайне неожиданно. Петя сказал: „Помоги, батя“. Я спросил его, что он, собственно говоря, делает? Петя только повторил: „Помоги“. Я Петю хорошо знаю – нечего тебе там, Петя, ухмыляться, – и знаю, что он человек солидный, тяжелодум и зря людей не оглушает. Мы протащили оглушенного из лавки в коридор и дальше в Петину комнату. Тут я услышал звоночек: кто-то зашел в магазин. Хорошо, конечно, что этого раньше не случилось. Я – обратно в лавку, отпустил товар, потом, к счастью, явилась жена с покупками, и я сразу посадил ее торговать, а сам, ничего не говоря, махом к Пете в комнату. Человек лежал с закрытыми глазами на полу, а Петя сидел у стола и этак задумчиво рассматривал некоторые предметы, как-то: большой кожаный портсигар, полдюжины неприличных открыток, бумажник, паспорт, старый, но на вид дельный револьвер. Он сразу объяснил мне, в чем дело: как вы, верно, догадываетесь, это были вещи, извлеченные из кармана человека, а сам человек был не кто иной, как тот представитель, который – ну, помните, Петя рассказывал – прошелся насчет белой швали? Во-во! И, судя по некоторым бумагам, был он самый что ни на есть гэпэушник. Ну хорошо, сказал я Пете, вот ты человека по морде шмякнул – за дело или не за дело – это другой вопрос, – но объясни мне, пожалуйста, как ты теперь намерен поступать? Ты, видно, забыл тетку в Москве? „Да, забыл, – сказал Петя. – Нам нужно что-то придумать“.

И мы придумали. Сначала достали крепкую веревку и полотенце, туго-натуго окрутили его, а полотенцем заткнули рот. Пока мы над ним трудились, он пришел в себя и открыл один глаз. Морда при ближайшем рассмотрении оказалась, доложу вам, поганая и притом глупая; какая-то парша на лбу, усики, нос дулей. Оставив его лежать на полу, мы с Петей удобно расположились по соседству и начали судебное разбирательство. Мы рядили долго. Нас не столько занимал самый факт оскорбления – это была, конечно, мелочь, – нас занимала вся его, так сказать, профессия, его действия в России. Последнее слово было предоставлено подсудимому. Когда мы высвободили полотенце из его рта, он как-то застонал, захлебнулся, но ничего не сказал, кроме: „Вы у меня погодите, вы у меня только погодите...“ Полотенце было снова завязано, и продолжалось заседание. Голоса сперва разделились. Петя требовал смертной казни. Я нашел, что он смерти достоин, но предлагал заменить казнь пожизненным заключением. Петя подумал и со мной согласился. Я добавил, что хотя преступления он, конечно, совершал, но проверить этого мы не можем; что преступлением является уже одна его служба; что наш долг состоит только в том, чтобы его обезвредить, и баста. Теперь слушайте дальше.

В конце коридора есть у нас ванная. Комнатка темная-претемная, с белой железной ванной. Вода частенько бастует. Бывают тараканы. В этой комнатке так темно, оттого что окошко совсем узкое и расположено под самым потолком – а кроме того, сразу против окошка на расстоянии аршина, а то и меньше – здоровая кирпичная стена. И вот в этой-то каморке мы и решили держать заключенного. Это была Петина мысль – да-да, Петя, кесарево кесарю.

Конечно, сперва нужно было известным образом камеру устроить. Сначала мы перетащили пленника в коридор, чтобы он был поблизости, пока мы работаем. Тут моя жена, которая только что заперла на ночь лавку и шла в кухню, нас и заметила. Она очень удивилась, даже возмутилась, но потом поняла наши доводы. Она у меня тихая. Петя раньше всего распостроил крепкий стол, стоявший в кухне, отбил ему ноги и полученной доской заколотил окошко в ванной. Затем он отвинтил краны, убрал цилиндр, служивший для нагревания воды, и в ванной разложил тюфяк. В следующие дни, конечно, мы вводили всякие улучшения: переменили замок, приделали засов, железом обделали доску в окне, – и все это, понятно, не очень громко; соседей у нас, как вы знаете, нет, но все-таки нужно было действовать осторожно. Получилась настоящая тюремная камера, и в нее мы посадили гэдэушника. Веревку распутали, полотенце развязали, предупредили, что если он будет кричать, то мы его спеленаем снова, да надолго, и, убедившись, что он понял, для кого в ванну положен тюфяк, заперли дверь, и всю ночь, сменяясь, сторожили.

С этого времени началась у нас новая жизнь. Я уже был не просто Мартын Мартыныч, а Мартын Мартыныч тюремный надзиратель. Сначала заключенный был так ошеломлен происшедшим, что вел себя тихо. Вскоре, однако, он пришел в нормальное состояние и, когда мы принесли ему обед, открыл ураганную ругань. Не могу повторить, как этот человек бранился: скажу только, что он в самые любопытные положения ставил мою покойную матушку. Решено было хорошенько ему втолковать, каков его юридический статус. Я объяснил ему, что в тюрьме он останется до конца своих лет, что если я умру раньше, то, как наследство, передам его Пете, что мой сын в свою очередь передаст его моему будущему внуку и так далее, и тем самым он станет как бы традицией нашей семьи, фамильной драгоценностью. Между прочим я упомянул и о том, что если, паче чаяния, придется нам переехать на другую берлинскую квартиру, то он будет связан, положен в специальный сундук и преспокойно переедет с нами. Я предупредил его далее, что в одном только случае ему будет дана амнистия. А именно: он будет выпущен на свободу в тот день, когда лопнут большевики. Наконец, я ему обещал, что кормить его будут хорошо, куда лучше, чем меня кормили, когда в свое время я сидел в чрезвычайке, и что, как особая льгота, будут ему выдаваться книги. И действительно, до сего дня он, кажется, ни разу не пожаловался на пищу. Правда, сначала Петя предлагал кормить его воблой, но, как он ни рыскал, воблы в Берлине не оказалось. Приходится его кормить по-буржуйски. Утром, ровно в восемь часов, мы с Петей входим, ставим подле его ванны миску горячего супа с мясом и ковригу серого хлеба. Заодно выносим судно – остроумнейший прибор, который мы специально для него приобрели. В три часа он получает стакан чаю, а в семь часов опять суп. Эта система питания есть подражание системе, применяемой в лучших европейских тюрьмах.

Насчет книг было сложнее. Мы устроили семейный совет и для начала остановились на трех книгах: „Князь Серебряный“, „Басни“ Крылова и „В восемьдесят дней вокруг света“. Он объявил, что этих „белогвардейских брошюр“ читать не станет, но книжки мы у него оставили, и у нас есть все основания думать, что он их с удовольствием прочел.

Настроения его менялись. Он притих. По-видимому, придумывал что-то. Быть может, он надеялся, что полиция станет его искать. Мы просматривали газеты, но в них не было ни слова о пропавшем чекисте. Вероятно, другие представители решили, что просто человек сбежал, и предпочли замять дело. К этому периоду раздумья относится его попытка ускользнуть или хотя бы дать о себе знать внешнему миру. Он топтался по камере, тянулся, вероятно, к окну, пробовал расшатать доски, пробовал стучать, но мы ему кое-чем пригрозили, и он стучать перестал. А однажды, когда Петя один вошел к нему, он на него кинулся. Петя нежно обнял его и посадил обратно в ванну. После этого случая он опять переменился, стал совсем добрый, даже пошучивал, и, наконец, попытался нас подкупить. Предложил огромную сумму, обещал ее достать через кого-то. Когда и это не помогло, он стал хныкать, а потом браниться пуще прежнего. Сейчас он в стадии мрачного смирения, которое, боюсь, к добру не приведет.

Ежедневно мы его прогуливаем по коридору, а два раза в неделю проветриваем при открытом окне; разумеется, принимаем при этом все предосторожности, чтобы он не кричал. По субботам он берет ванну. Нам самим приходится мыться на кухне. По воскресеньям я читаю ему коротенькие лекции и даю выкурить три папиросы – в моем присутствии, конечно. О чем эти лекции? Да о всякой всячине. О Пушкине, например, или о Древней Греции. Только нет одного – политики. Он политики абсолютно лишен. Словно вообще такой штуки на свете не существовало. И знаете что? С тех пор как я держу одного чекиста взаперти, с тех пор как служу отечеству, я прямо другой человек. Бодр и счастлив. И дела пошли лучше, так что и содержать его не так трудно. Он обходится мне этак марок в двадцать в месяц, считая расход на электричество: у него там совсем темно, так что днем от восьми до восьми горит одна слабая лампочка.

Вы спрашиваете, из какой он среды? Да как вам сказать. Ему двадцать четыре года, сын мужика, школу, даже сельскую, вряд ли кончил, был, что называется, „честный коммунист“, учился только политической грамоте, что по-нашему значит квадратура круглых дураков, – вот и все, что знаю. Да впрочем, если желаете, я вам его покажу. Только помните, помните – молчок!»

Мартын Мартыныч пошел в коридор. Мы с Петей за ним последовали. Старик в своей уютной домашней куртке действительно смахивал на тюремного сторожа. На ходу он вынул ключ, и в том, как он сунул его в замок, было что-то почти профессиональное. Замок дважды хрустнул, и Мартын Мартыныч отпахнул дверь.

Это была вовсе не темная конура, а прекрасная просторная ванная комната, какая бывает в благоустроенных немецких домах. Мягко горел приятный для глаза электрический свет, защищенный расписным веселеньким абажуром. В левой стене сияло зеркало. На столике подле ванны были книги, блестела тарелочка с вычищенным апельсином, стояла непечатая бутылка пива. В белой ванне, на тюфяке, прикрытом чистой простыней, с большой подушкой под затылком, лежал упитанный, яркоглазый, обросший бородой парень в мохнатом купальном халате с барского плеча и в теплых мягких ночных туфлях.

«Ну как?» – обратился ко мне Мартын Мартыныч.

Мне было смешно, я не знал, что сказать.

«Вон там было окно», – указал пальцем Мартын Мартыныч. Окно, точно, было превосходно заделано.

Заключенный зевнул и отвернулся к стене. Мы вышли. Мартын Мартыныч с улыбкой потрогал засов.

«Не убежит, дудки, – сказал он и потом задумчиво добавил: – Интересно все-таки знать, сколько лет он там будет сидеть?»

Звуки

1

Окно пришлось захлопнуть: дождь, ударяясь о подоконник, брызгал на паркет, на кресло. По саду, по зелени, по оранжевому песку, свежо и скользко шумя, неслись громадные серебряные призраки. Гремела и захлебывалась водопроводная труба. Ты играла Баха. Рояль поднял лаковое крыло, под крылом плашмя лежала лира, по струнам перебирали молоточки. С хвоста рояля парчовый ковер сполз грубыми складками, уронив на паркет распахнувшийся опус. Иногда сквозь волнение фуги кольцо звякало о клавиши, и беспрерывно и великолепно в стекла хлестал июльский ливень. И, не прерывая игры и слегка нагнув голову, ты восклицала в такт – поневоле певуче:

– Дождь, дождь... Я его заглушаю!..

Но заглушить ты его не могла.

Оторвавшись от альбомов, бархатными гробами лежавших на столе, я смотрел на тебя, слушал фугу, дождь, – и росло во мне чувство свежее, как запах мокрых гвоздик, что стекал отовсюду: с полок, с крыла рояля, с продолговатых алмазов люстры. То было чувство какого-то восторженного равновесия: и чувствовал я музыкальную связь между серебряными призраками дождя и твоими покатыми плечами, вздрагивающими, когда ты вдавливала пальцы в выбитый лоск. И когда я углублялся в себя, весь мир показался мне таким – цельным, согласным, связанным законами гармонии. Я, ты, ливень, гвоздики – были в это мгновение вертикальным аккордом на нотных линиях. Я понял, что все в мире игра одинаковых частиц, составляющих разные созвучия: деревья, воду, тебя... Едино, равноценно, божественно. Ты встала. Еще солнце скашивал дождь. Лужи казались провалами в темном песке, просвечивали в какие-то другие небеса, скользящие под землей. На скамейке, блестящей, как датский фарфор, лежала забытая ракета: струны побурели из-за дождя, рама выгнулась восьмеркой.

Когда мы вошли в аллею – легко закружилась голова от пестроты теней, от грибной прели. Я помню тебя в каком-то просвете. У тебя были острые локти и бледные, словно опыленные, глаза. Когда говорила – резала воздух ребрышком ладони, блеском браслета на худой кисти. Волосы твои переходили, тая, в солнечный воздух, дрожащий вокруг них. Ты много и торопливо курила. Выдыхала дым через обе ноздри, угловато стряхивая пепел. Твоя сизая усадьба находилась в пяти верстах от нашей. В усадьбе твоей было звонко, пышно и прохладно. Снимок с нее появлялся в глянцевице столичном журнале. Почти каждое утро я взмахивал на кожаный клин велосипеда и шелестел, шелестел по тропинке, лесом, затем, по шоссе, через село и снова по тропинке – к тебе. Ты рассчитывала, что твой муж до сентября не придет. И ничего мы с тобой не боялись, ни сплетен твоих слуг, ни подозрений моей семьи. Оба, по-разному, мы верили в судьбу.

2

Твоя любовь была глуховата, как и голос твой. Ты любила словно исподлюбья и о любви не говорила – никогда. Была ты одна из тех женщин, которые обычно молчаливы и к молчанию которых сразу привыкаешь. Но иногда что-то прорывалось в тебе. Тогда гремел твой громадный Бехштейн – а не то, туманно глядя перед собой, рассказывала ты мне очень смешные анекдоты, слышанные от мужа, от товарищей по его полку. Руки помню твои – длинные, бледные, в голубоватых жилках.

3

В тот счастливый день, когда хлестал ливень и ты так неожиданно хорошо играла, разрешилось то смутное, что незаметно всплыло между нами после первых недель любви. Я понял, что нет у тебя власти надо мной, что не ты одна, а вся земля – моя любовница. Душа моя как бы выпустила бесчисленные, чуткие щупальца, и я жил во всем, одновременно ощущая, как где-то за окном грохочет Ниагара и как – вот – в аллее шуршат и хлопают длинные золотые капли. Посмотрел я на блестящую кору березы и вдруг почувствовал: не руки у меня, а склоненные ветви в мелких мокрых листочках, и не ноги, а тысяча тонких корней, вьющихся, пьющих землю. Захотелось мне перелиться так во всю природу, испытать, что значит быть старым боровиком с ноздреватым желтым исподом, стрекозой, кольцом солнца. Я был так счастлив, что рассмеялся вдруг, поцеловал тебя в ключицу, в затылок. Я бы даже стихи прочел тебе, но стихов ты терпеть не могла.

Улыбнулась узкой улыбкой и сказала:

– А хорошо после дождя. – Затем подумала и прибавила: – Знаешь, я вдруг вспомнила: меня сегодня звал к себе на чай этот, как его, Пал Палыч. Он страшно скучный, но, понимаешь, надо.

Пал Палыча я знал давно: бывало, вместе удили рыбу, а он вдруг запоем ноющим тенорком «Вечерний звон». Я очень любил его. Огненная капля упала с листа прямо мне на губы. Я предложил сопроводить тебя.

Ты зябко повела плечами:

– Мы там умрем со скуки. Это ужасно.

Взглянула на кисть, вздохнула.

– Пора. Надо пойти переменить туфли.

В твоей туманной спальне, пробиваясь сквозь опущенные жалюзи, солнце легло двумя золотыми лестницами. Ты глухо сказала что-то. За окном счастливым шелестом дышали, капали деревья. И, улыбаясь шелесту, легко и не жадно я обнял тебя.

4

Было так: на одном берегу реки – твой парк, твои луга, на другом – село. Местами в шоссе были глубокие выбоины; жирно лиловела грязь, пузырчатая вода цвета кофе с молоком стояла в колеях. Особенно отчетливо тянулись косые тени черных бревенчатых изб.

Мы шли в тени по утопанной тропе вдоль мелочной лавки, вдоль трактира с изумрудной вывеской, вдоль дворов, полных солнца, дышащих навозом, свежим сеном.

Школа была новая, каменная, обсаженная кленами. На пороге перед зияющею дверью баба, блестя белыми икрами, выжимала тряпку в ведро.

Ты спросила:

– Что, Пал Палыч дома?

Баба (веснушки, косицы) пошурилась от солнца.

– Как же, дома, – оттолкнула пяткой звякнувшее ведро. – Входите, барыня. Они в мастерской будут.

Проскрипели по темному коридору, затем – через просторный класс. Мимоходом взглянул я на голубоватую карту; подумал: вот вся Россия так – солнце, ухабы... В углу блестел раздавленный мелок. А дальше, в небольшой мастерской, хорошо пахло столярным клеем, сосновыми опилками. Без пиджака, пухлый и потный, Пал Палыч строгал, выставив левую ногу,

сочно играя рубанком по поющей белой доске. В пыльном луче качалась взад и вперед его влажная плешь. На полу под верстаком легкими локонами вились опилки⁸.

Я громко сказал:

– Пал Палыч, гости к вам!

Он вздрогнул, сразу смутился, суетливо чмокнул тебе руку, которую ты подняла таким слабым, таким знакомым движением, сырыми пальцами на мгновение впился в мою кисть, потряс. У него было лицо, словно вылепленное из маслянистого пластилина, мягкоусое, в неожиданных морщинах.

– Виноват, я, знаете, не одет, – стыдливо ухмылялся он.

Схватил с подоконника два рядом стоящих цилиндра – манжеты. Торопливо нацепил.

– А над чем это вы работаете? – спросила ты, блеснув браслетом.

Пал Палыч размашисто напяливал пиджак.

– Это так, пустяки, – забубнил он, слегка спотыкаясь на губных согласных. – Полочка такая. Еще не кончено. Потом отшлифую, помажу лаком. А вот лучше посмотрите – так называемая «муха»...

Мазком сложенных ладоней он закрутил маленький деревянный вертолет, который, жужжа, взлетел, стукнулся об потолок, упал.

Тень вежливой улыбки скользнула у тебя по лицу.

– Что же это я! – опять завозился Пал Палыч. – Идем же наверх, господа. Тут дверь визжит. Виноват. Разрешите мне вперед пройти. Я боюсь, у меня не прибрано...

– Он, кажется, забыл, что приглашал меня, – сказала ты по-английски, когда мы стали подниматься по некрашеной скрипучей лестнице...

Я смотрел на спину твою, на шелковые клеточки твоей фуфайки. Внизу где-то, верно во дворе, раздавался звонкий бабий голос: «Герасим! А, Герасим!» – и вдруг так ясно стало мне, что мир веками цвел, увядал, кружился, менялся только затем, чтобы вот сейчас, вот в это мгновение связать в одно, слить в вертикальный аккорд голос, что прозвенел внизу, движение твоих шелковых лопаток, запах сосновых досок.

5

В комнате у Пал Палыча было солнечно и тесновато. Над постелью прибит был пунцовый коврик с желтым львом, вышитым посерединке. На другой стене висела в раме глава из «Анны Карениной», набранная так, что теневая игра разных шрифтов и хитрое расположение строк образовательно вали лицо Толстого. Хозяин, суетливо потирая руки, усадил тебя, крылом пиджака смахнул тетрадь со стола, извинился, положил на место. Появился чай, простокваша, альберты. Из ящика комода Пал Палыч достал цветистую банку ландриных леденцов. Когда он нагнулся, вздувалась складка прыщеватой кожи сзади над воротником. На подоконнике в паутиновом пушку желтел мертвый шмель.

– Где это Сараево? – вдруг спросила ты, шурша газетным листом, который лениво взяла со стула.

Пал Палыч, занятый разливанием чая, ответил:

– В Сербии.

Затем осторожно дрожащей рукой передал тебе дымящий стакан в серебряной подставке.

– Прошу. Можно вам предложить бисквитов? И что это они бомбой шарахнули? – обратился он ко мне, дернув плечами.

Я рассматривал – в сотый раз – толстое стеклянное пресс-папье: внутри стекла – розоватая лазурь и Исакий в золотых песчинках. Ты рассмеялась и прочла вслух:

⁸ Описка Набокова, он имел в виду стружки. – *Прим. ред.*

– Вчера в ресторане «Квисисана» был задержан купец второй гильдии Ерошин. Оказалось, что Ерошин, под предлогом...

Рассмеялась опять:

– Нет, дальше неприлично.

Пал Палыч потерялся, налил коричневой кровью, уронил ложку. Листья кленов лоснились под самым окном. Громыкнула телега. Далеко где-то уныло и нежно пронеслось: мороженое!..

6

Он заговорил о школе, о пьянстве, о том, что в реке появилась форель. Я стал всматриваться в него, и показалось мне, что впервые его вижу по-настоящему – хотя давно его знал. При первом знакомстве я, должно быть, взглянул на него – и этот первый облик так и остался у меня в мозгу, не меняясь, как нечто принятое, привычное. Когда я мельком думал о Пал Палыче, мне почему-то казалось, что у него не только русые усы, но и борода такая. Мнимая борода – свойство многих русских лиц. Теперь, взглянув на него как-то особенно, внутренними глазами, я видел, что в действительности подбородок у него круглый, безволосый, слегка раздвоенный. Нос был мясистый, а на левом веке я подметил родимый прыщик, который так и хотелось срезать, но срезать значило бы убить. В этом зернышке был весь он, только он. И когда я все это понял, всего его осмотрел, сделал я легкое, легкое движение, словно пустил душу скользить по скату, и вплыл я в Пал Палыча, разместился в нем, почувствовал как-то снутри и прыщик на морщинистом веке, и крахмальные крылышки воротника, и муху, ползающую по темени. Я стал им. Я смотрел на все его светлыми бегающими глазами. Желтый лев над постелью показался мне давно знакомым, точно с детства он висел у меня на стене. Необычайно изящной, радостной стала крашеная открытка, залитая выпуклым стеклом. Передо мной не ты сидела, а попечительница школы, малознакомая молчаливая дама в низком соломенном кресле, к которому спина моя привыкла. И сразу тем же легким движением вплыл я в тебя, ощутил повыше колена ленту подвязки, еще выше – батистовое щекотанье, подумал за тебя, что скучно, что жарко, что хочется курить. И в тот же миг ты вынула золотую шкатулочку из сумки, вставила папиросу в мундштук. И я был во всем: в тебе, в папиросе, в Пал Палыче, неловко чиркающем спичкой, и в стеклянном пресс-папье, и в мертвом шмеле на подоконнике.

7

Много лет проплыло с тех пор, и я не знаю, где он теперь – робкий, рыхлый Пал Палыч. Иногда только, когда меньше всего я думаю о нем, вижу я его во сне, в обстановке моей нынешней жизни. Входит он в комнату своей суетливой, улыбающейся походкой, с блеклой панамой в руке, кланяется на ходу, огромным платком вытирает лысину, красную шею. И когда он мне снится, непременно и ты проходишь через мой сон, ленивая, в шелковой фуфайке с низким пояском.

8

Я был неразговорчив в тот счастливейший день: глотал скользкие хлопья простокваши, прислушивался ко всем звукам. Когда Пал Палыч затихал, слышно было, как у него урчит в животе: нежно пискнет, чуть забулькает. Тогда он деловито откашливался и поспешно начинал рассказывать что-нибудь, запинаясь и не находя нужного слова, морщился, барабанил подушечками пальцев по столу. Откинувшись в низком кресле, ты спокойно молчала и, повернув

голову набок и подняв острый локоть, поправляла сзади шпильки, из-под ресниц взглядывала на меня. Ты думала, что мне неловко перед Пал Палычем, неловко потому, что мы пришли вместе, что, может, он догадывается о наших отношениях. И мне смешно было, что думаешь ты так, и смешно, что Пал Палыч тоскливо и тускло краснел, когда ты нарочно заговаривала о муже, о службе его.

9

Перед школой, под кленами, солнце разбрызгалось горячей охрой. С порога Пал Палыч, провожая нас, кланялся, благодарил, что зашли, кланялся опять. У двери, на наружной стене, стеклянной белизной блестел градусник.

Когда, выйдя из села и перейдя мост, мы стали подниматься тропинкой по направлению к твоей усадьбе, я взял тебя под локоть и ты боком взглянула на меня с той особой узкой улыбкой, по которой я знал, что ты счастлива. Мне вдруг захотелось рассказать тебе о морщинках Пал Палыча, об Исакии в блестках, но только я начал, почувствовал я, что слова выходят не так, аляповатые, и, когда ты ласково сказала: «декадент!», я заговорил о другом. Я знал: тебе нужны простые чувства, простые слова. Ты молчала легко и безветренно, как молчат облака и растения. Всякое молчанье есть допущенье тайны. Многим ты казалась таинственной.

10

Работник в раздутой рубахе звонко и крепко точил косу. Над нескошенными скабиозами плыли бабочки. По тропинке навстречу нам шла барышня с бледно-зеленым платком на плечах, с ромашками в темной прическе. Я уже раза три видал ее, запомнилась тонкая загорелая шея. Проходя мимо нас, она внимательно коснулась тебя гладкими, чуть раскосыми глазами, затем, осторожно перепрыгнув канаву, скрылась за ольхами. Серебристая дрожь скользила по матовым кустам. Ты сказала: «Наверно, разгуливала у меня в парке. Вот не терплю этих дачниц...» Фокс, старая, толстая сучка, бежал по тропинке вдогонку за своей госпожой. Ты обожала собак. Свистнула, присела на корточки. Собачка подползла, юля и приглад<ив> уши. Под твоей протянутой рукой – перевалилась на спину, показывая розовое брюшко в старых географических пятнах. «Ух ты, хорошая моя», – сказала ты особым, треплющим голосом. Фокс, повалявшись, жеманно взвизгнул и побежал дальше, перекатился через канаву.

Когда мы уже подходили к парковой калитке, тебе захотелось курить, но, пошарив в сумке, ты тихо цокнула:

– Вот глупо! Забыла у него мундштук.

Тронула меня за плечо:

– Милый, сбегай! Иначе курить не могу.

Смеясь, поцеловал я твои зыбкие ресницы, узкую твою улыбку.

Ты крикнула мне вслед:

– Поскорее только!

И тогда я пустился бегом – не потому, что нужно было торопиться, но потому, что все вокруг бежало: и отливы кустов, и тени облаков по влажной траве, и лиловатые цветы, спасающиеся в овраге от молнии косца.

11

Через минут десять, жарко дыша, поднимался я по лестнице в школе. Кулаком бухнул в коричневую дверь. В комнате скрипнули пружины матраца. Я повернул дверную ручку: заперто.

– Кто там? – растерянно отозвался Пал Палыч.

Я крикнул:

– Да впустите же!

Опять звякнул матрац; зашлепали необутые ступни. И сразу же я заметил, что глаза у него красные.

– Входите, входите... Очень приятно. Я, видите ли, спал. Прошу.

– Тут мундштук остался, – сказал я, стараясь не глядеть на него.

Отыскал под креслом зеленую эмалевую трубочку. Сунул в карман. Пал Палыч трубил в платок.

– Прекрасный она человек, – некстати заметил он, тяжело присев на постель. Вдохнул. Посмотрел вбок.

– В русской женщине есть, знаете, такая... – Весь сморщился, потер лоб рукой. – Этакая... (Тихо крикнул.) Жертвенность. Ничего нет прекраснее на свете. Необычайно тонкая, необычайно прекрасная... жертвенность. – Заломил руки, просиял лирической улыбкой. – Необычайно...

Помолчал и спросил уже другим тоном, которым часто смешил он меня:

– А что вы мне еще расскажете, дорогой мой?

Мне захотелось обнять его, сказать ему что-нибудь очень ласковое, нужное.

– Шли бы вы гулять, Пал Палыч. Охота вам киснуть в душевной комнате.

Он махнул рукой:

– Чего я там не видал. П-печет только...

Вытер ладонью опухшие глаза, усы, сверху вниз.

– Вот вечером, может быть, пойду удить рыбу. – Дрогнув родимый прыщик на морщинистом веке.

Надо было спросить его: «Голубчик, Пал Палыч, отчего это вы только что лежали, уткнувшись в подушку? Что это, сенная лихорадка или большая печаль? Любили ли вы когда-нибудь женщину? И отчего вам плакать сегодня, когда на улице солнце, лужи?..»

– Ну-с, пора мне бежать, Пал Палыч, – сказал я, оглянув неубранные стаканы, типографского Толстого, сапоги с ушками под стулом.

Две мухи сели на красный пол. Одна влезла на другую. Зажужжали. Разлетелись.

– Эх вы... – медленно выдохнул Пал Палыч. Покачал головой. – Ну уж так и быть, ступайте.

12

Снова бежал я по тропинке вдоль ольховых кустов. Я чувствовал, что омылся в чужой грусти, сияю чужими слезами. Это было счастливое чувство, и с тех пор изредка испытываю я его при виде склоненного дерева, прорванной перчатки, лошадиных глаз. Оно было потому счастливое, что лилось гармонично. Оно было счастливое, как всякое движенье, излученье. Был я когда-то раздроблен на миллионы существ и предметов, теперь я собран в одно, завтра раздроблюсь опять. И все в мире переливается так. В тот день я был на вершине волны, знал, что все вокруг меня – ноты одной гармонии, знал – втайне – как возникли, как должны разре-

шиться собранные на миг звуки, какой новый аккорд вызовет каждая из разлетавшихся нот. В гармонии не может быть случайности. Музыкальный слух души моей все знал, все понимал.

13

Ты встретила меня на садовой площадке у ступеней веранды, и первые твои слова были:
– Муж звонил из города, пока меня не было. Приезжает с десятичасовым. Что-то случилось. Переводят, что ли.

Трясогузка – сизый ветер – просеменила по песку: стоп, два-три шажка, стоп и опять шажки. Трясогузка, мундштук в моей руке, твои слова, пятна солнца на платье. Иначе быть не могло.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказала ты, сдвинув брови. – О том, что ему донесут и все такое. Но это все равно... Знаешь, что я...

Я посмотрел тебе прямо в лицо. Всей душой, плашмя посмотрел. Ударился в тебя. Глаза твои были ясны, словно слетел с них лист шелковистой бумаги, какой бывают подернуты рисунки в дорогих книгах. И голос твой был ясен, в первый раз.

– Знаешь, что я решила? Вот. Не могу жить без тебя. Так ему и скажу. Развод он мне даст сразу. И тогда мы можем, скажем, осенью...

Я перебил тебя своим молчанием. Пятно солнца скользнуло с юбки твоей на песок: это ты слегка отодвинулась.

Что мог я сказать тебе? Свобода? Плен? Мало люблю? Не то.

Прошло одно мгновение; за этот миг на свете случилось многое: где-нибудь гигантский пароход пошел ко дну, войну объявили, родился гений. Это мгновенье прошло.

– Вот твой мундштук, – проговорил я, кашлянув. – Он был под креслом. И знаешь, когда я вошел, Пал Палыч, по-видимому...

Ты сказала:

– Так. Теперь можешь уходить.

Повернулась и быстро убежала по ступеням. Схватила за ручку стеклянной двери, дернула, не сразу могла открыть. Это было, вероятно, мучительно.

Блеснуло. Захлопнулась.

14

Постоял я в саду, в сладковатой сырости, затем, глубоко засунув руки в карманы, обошел кругом дома, по пятнистому песку. У парадного крыльца нашел свой велосипед. Уперся в низкие рулевые рога, покотил по аллее парка.

Там и сям лежали жабы. Нечаянно я одну переехал. Хлопнуло под шиной.

В конце аллеи была скамейка. Я приставил велосипед к стволу. Сел на беленую доску. Думал о том, что, вероятно, на днях получу от тебя письмо: будешь звать, а я не вернусь. В чудесную и печальную даль уплыл твой дом с его крылатым роялем, пыльными томами «Живописного обозрения», силуэтами в круглых рамочках. Сладко мне было терять тебя. Ты ушла, угловато дернув стеклянную дверь. Но другая ты уходила иначе – распахнув бледные глаза под моими счастливыми поцелуями. Ничего нет слаще уходящей музыки.

15

Так просидел я до вечера. Слово на незримых ниточках, вверх и вниз дрыгали мошки. Вдруг где-то сбоку почувствовал я светлое пятно: твоё платье... ты...

Все ведь дозвенело – оттого стало мне неприятно, что ты опять тут – где-то сбоку, вне поля моего зрения, идешь, приближаешься. С усилием я повернул лицо. Это была не ты, а та барышня в зеленоватом платке, помнишь, встретили?.. Еще <u>фокса было такое смешное брюшко... Она прошла в просветах листвы, по мостику, ведущему к маленькой беседке с цветными стеклами. Барышне скучно, она разгуливает у тебя в парке, я, вероятно, с ней познакомлюсь как-нибудь.

Медленно встал я, медленно выехал из неподвижного парка на большую дорогу, прямо в огромный закат. За поворотом перегнал коляску: это твой кучер Семен шагом ехал на станцию. Увидя меня, он медленно снял картуз и, пригладив по темени лоснящиеся пряди, надел опять. На сиденье был сложен клетчатый плед. Закатный блеск скользнул в глазу у вороного мерина. А когда, остановив педали, пролетел я под гору, к реке, то увидел с моста панаму и круглые плечи Пал Палыча, сидящего внизу, на выступе купальни с удочкой в кулаке.

Затормозил я, остановился, положив ладонь на перила.

– Гоп-гоп, Пал Палыч! Клюет?

Он взглянул вверх, хорошо так помахал рукой. Над розовым зеркалом метнулась летучая мышь. Черным кружевом отражалась листва. Издали Пал Палыч кричал что-то, манил рукой. Другой Пал Палыч черной зыбью дрожал в воде. Я рассмеялся и оттолкнулся от перил. Беззвучным махом пронесся я по укатанной тропе мимо изб. В матовом воздухе проплывало мычанье; взлетая, дзенькали рюхи. А дальше, на шоссе, в просторе заката, в полях, смутно дымящихся, было тихо.

Боги

Вот что я сейчас вижу в твоих глазах: дождливая ночь; узкая улочка; уплывающие вдаль фонари. Вода течет с крутых крыш по трубам. Под змеиной пастью каждой трубы – бадья, схваченная зеленым обручем. Бадьи тянутся рядами по обеим сторонам вдоль черных стен. Я смотрю, как наполняются они холодной ртутью. Дождевая ртуть, вздувшись, переливается через край. Вдали плывут простоволосые фонари. Их лучи стоят дыбом в дождевой мути. Вода переполняет бадьи.

Так вхожу я в твои ненасытные глаза, в проулок черного блеска, где журчит и шуршит ночной дождь. Улыбнись. Зачем ты смотришь на меня так скорбно и темно? Утро. Всю ночь звезды кричали младенческими голосами и кто-то на крыше рвал и гладил скрипку острым смычком. Смотри, солнце огненным парусом медленно прошло по стене. Ты вся задымилась. В твоих глазах закружилась пыль: миллионы золотых миров. Улыбнулась! Мы выходим на балкон. Внизу, посередине улицы, желтокудрый мальчик быстро-быстро рисует бога. Бог протянулся от панели до панели. Мальчик зажал в руке кусок мела, белый уголек, и скорчился, колесит, размашисто чертит. У белого бога – широкие большие пуговицы, вывернутые ноги. Он распят на асфальте и круглыми очами смотрит в небо. Рот у него – белая дуга. Сигара, величиной с полено, появилась во рту. Мальчик винтовыми ударами чертит спирали дыма. Подбоченился, смотрит. Прибавил еще одну пуговицу... Напротив лязгнула оконная рама; женский голос, громадный и счастливый, прокатился, позвал. Мальчик пинком поддал мяч, кинулся в дом. На лиловатом асфальте остался белый геометрический бог, глядящий в небо.

Снова тьмой наполнились твои глаза. Я понимаю, конечно, о чем ты вспомнила. В углу нашей спальни, под образом – цветной резиновый мяч. Иногда легким и грустным прыжком он спадает со столика на пол, тихо катится. Положи его на место, под образ, и, знаешь, пойдём гулять.

Весенний воздух. Чуть пушистый. Видишь эти липы вдоль улицы? Черные ветки в мокрых зеленых блестях. Все деревья на свете движутся куда-то. Вечное паломничество. Помнишь ли, когда ехали мы сюда, в этот город, мимо вагонных окон шли деревья? Помнишь двенадцать тополей, что совещались между собой, как им перейти реку? А еще раньше, в Крыму, я видел кипарис, склоненный над цветущим миндалем. Кипарис был некогда рослым трубочистом со щеткой на проволоке, с лесенкой под мышкой. Был он, бедный, без ума от маленькой прачки, розовой, как миндальные лепестки. И только вот теперь они встретились наконец и вместе идут куда-то. Розовый передник ее вздувается, он робко наклоняется к ней, еще как будто боясь испачкать ее сажей. Это очень хорошая сказка.

Все деревья паломники. У них есть свой Мессия, которого ищут они. Их Мессия – царственный ливанский кедр, а может быть, просто – совсем маленький, совсем незаметный кустик какой-нибудь на тундре... Сегодня через город проходят липы. Их захотели удержать. Обнесли стволы круглыми решетками. Но они все равно движутся...

Горят крыши, как косые зеркала, ослепленные солнцем. Крылатая женщина моет стекла, стоя на подоконнике. Изогнулась, надула губы, смахивая с лица прядь горящих волос. В воздухе тонко пахнет бензином и липой. Кто знает теперь, какой именно запах легонько обдал гостя, входящего в помпейский атриум? Через полвека люди знать не будут, чем пахло на наших улицах и в комнатах наших. Откопают каменного полководца, каких сотни в каждом городе, и вздохнут о былом Фидиасе. Все в мире прекрасно, но человек только тогда признает прекрасное, когда видит его либо редко, либо издали...

Слушай, мы сегодня – боги! Наши синие тени громадны. Мы двигаемся в исполинском и радостном мире. Высокая тумба на углу крепко обтянута мокрыми еще полотнами: по ним кисть разметала цветные вихри.

У старухи-газетчицы седые загнутые волосы на подбородке и сумасшедшие голубые глаза. Газеты буйно торчат из мешка. Их крупный шрифт напоминает мне летящих зебр.

У столба стал автобус. Наверху кондуктор бабахнул ладонью по железному борту. Рулевой мощно повернул огромное свое колесо. Восходящий трудный стон, короткий скрежет. На асфальте остались серебряные отпечатки широких шин.

Сегодня, в этот солнечный день, все возможно. Смотри, человек прыгнул с крыши на проволоку, и вот идет по ней, заливаясь смехом, распахнув руки, – высоко над качающейся улицей. Вот два дома плавно сыграли в чехарду: номер третий оказался между первым и вторым; он не сразу осел – я заметил просвет под ним, солнечную полоску. Вот посреди площади встала женщина, запрокинула голову и запела; вокруг нее столпились, подались назад: пустое платье лежит на асфальте, а в небе прозрачное облачко.

Ты смеешься. Когда ты смеешься, мне хочется весь мир превратить в твое зеркало. Но мгновенно глаза твои гаснут. Говоришь страстно и испуганно:

– Хочешь, поедem... туда? Хочешь? Там сегодня хорошо... цветет все...

Конечно, все цветет, конечно, поедem. Ведь мы с тобой боги... Я ощущаю в крови своей кружение неисследимых вселенных...

Слушай, я хочу всю жизнь бежать и кричать что есть сил. Пускай вся жизнь будет вольным воплем. Вот как кричит толпа, когда встречает гладиатора. Не задумывайся, не прерывай крик, выдыхай, выдыхай восторг жизни. Все цветет. Все летит. Все кричит, захлебываясь криком. Смех. Бег. Распущенные волосы. Вот – вся жизнь.

По улице ведут верблюдов – из цирка в зоологический сад. Жирные горбы их склонились набок, покачиваются. Длинные добрые морды слегка подняты мечтательно. Какая может быть смерть, если по весенней улице ведут верблюдов? На углу пахло русской рощей: нищий божественный урод, весь вывернутый, с ногами, растущими из-под мышек, протягивает в мокрой мохнатой лапе пучок зеленоватых ланд... Я плечом влетаю в прохожего: на миг сшиблись два гиганта. Он весело и великолепно замахнулся на меня лаковой тростью. Откинутым концом разбил за собой витрину. Распрыгались извилины по блестящему стеклу. Нет, это просто солнце из зеркала брызнуло мне в глаза. Бабочка, бабочка! Черная с пунцовыми полосками... Ключок бархата... Скользнула над асфальтом, взмыла через пролетающий автомобиль, через высокий дом – в мокрую лазурь апрельского неба. Точь-в-точь такая же села когда-то на белый край арены; Лезбия, дочь сенатора, худенькая, темноглазая, с золотой лентой на лбу, залюбовалась дышащими крыльями – и пропустила тот миг, когда в вихре ослепительной пыли хрустнул бычий затылок одного бойца под голым коленом другого.

У меня в душе сегодня – гладиаторы, солнце, гул мира...

Мы спускались по широким ступеням в длинное тусклое подземелье. Туго звенят под шагами каменные плиты. Изображеньями горящих грешников расписаны старые стены. В глубине черными складками нарастает бархатный гром. Вырывается кругом нас. Люди метнулись, как бы в ожидании бога. Нас вдавливают в стеклянный блеск. Раскачнулись. Влетаем в черный провал и гулко несемся глубоко под землей, повисая на кожаных ремнях. На миг, щелкнув, гаснут янтарные лампочки: тогда в темноте жарко горят рыхлые пузыри огня – выпущенные глазища бесов, а может быть, сигары наших попутчиков. Снова светло. Видишь, вон там, у стеклянной двери вагона, стоит высокий господин в черном пальто. Я смутно узнаю это лицо, узкое, желтоватое, – костяную горбинку носа. Тонкие губы сжаты, внимательная складка между тяжелых бровей: он слушает, что объясняет ему другой, бледный, как гипсовая маска, с круглой лепной бородкой. Я уверен – они говорят терцинами. А вот соседка твоя – эта дама в палевом платье, что сидит, опустив ресницы, уж не Беатриче ли она?

Из сырой Преисподни снова выходим на солнце.

Кладбище далеко за городом. Дома поредели. Зеленоватые пустоты. Я вспоминаю вид этой же столицы на старинном эстампе.

Мы идем против ветра, вдоль величавых заборов. В такой же солнечный и зыбкий день мы вернемся с тобой на север, в Россию. Будет очень мало цветов – только желтые звездочки одуванчиков вдоль канав. Будут гудеть нам навстречу сизые телеграфные столбы. Когда за поворотом ударят в сердце – елки, красный песок и угол дома, я покачнусь и паду ничком.

Смотри! Над зеленоватыми пустотами высоко в небе плывет аэроплан, басисто звеня, как эолова арфа. Сияют стеклянные крылья. Правда, хорошо? Ах, слушай: это случилось в Париже, лет полтора тому назад. Рано утром – дело было осенью, и деревья мягкими оранжевыми грудками плыли вдоль бульваров в нежное небо – рано утром на рыночную площадь съехались торговцы, заблестали мокрые яблоки на лотках, пахло медом, сырой соломой. Старик, с белым пухом в ушных раковинах, не торопясь расставил клетки свои, в которых зябко ерзала всякая птица, и затем сонно прилег на рогожку, так как заревой туман еще скрывал золотые стрелки на черном циферблате ратуши. Только что уснул он, как кто-то стал тереть его за плечо. Вскочил старик и увидел перед собой запыхавшегося молодого человека. Был он долговязый, тощий, с маленькой головой и острым носиком. Жилет – серебристый в черную полоску – был криво застегнут, ленточка на косице развязалась, на одной ноге белый чулок сполз складками.

«Мне нужно какую-нибудь птицу, курицу, что ли», – сказал молодой человек, скользнув по клеткам быстрым взволнованным взглядом.

Старик бережно вытащил белую курочку, пухло бьющуюся в его темных руках.

«Что она, не больна?» – спросил молодой человек, словно речь шла о корове.

«Бол<ь>на? Брюшко маленькой рыбки!» – добродушно выругался старик.

Молодой человек кинул яркую монету и побежал между лотков, прижав на груди курочку. Остановился, круто повернул, хлестнув косицей, и снова подбежал к старику.

«Мне нужно и клетку», – сказал он.

Когда он наконец удалился, держа клетку с курочкой в протянутой руке и раскачивая другой, словно нес ведро, старик хмыркнул носом и снова прилег на рогожку. Как он торговал в этот день и что с ним случилось потом, совершенно для нас не важно.

А молодой человек был не кто иной, как сын знаменитого физика Шарля. Шарль посмотрел через очки на курочку, щелкнул желтым ногтем по клетке и сказал:

«Ну что ж, теперь и пассажир есть».

И прибавил, строго сверкнув стеклами на сына:

«А мы с тобой, друг мой, повременим. Бог весть, какой там воздух, в облаках-то».

В тот же день, в назначенный час на Марсовом поле, при дивящейся толпе, громадный, легкий купол, вытканый богдыханскими узорами, с золоченой гондолой на шелковых шнурах, медленно вздувался, наливаясь водородным газом. В струях дыма, уносимого вбок ветром, возились Шарль и сын его. Курочка сквозь решетку клетки смотрела одним бисерным глазком, наклонив голову. Кругом двигались кафтаны цветные, в искру, воздушные платья женщин, соломенные шляпы, и, когда шар шарахнулся ввысь, старый физик посмотрел ему вслед, заплакал на плече у сына, и сотни рук кругом замахали платками, лентами... По нежному солнечному небу летели рассыпчатые облака, Земля уходила – зыбкая, зеленоватая, в бегущих тенях, в огненных пятнах деревьев. Далеко внизу пронесли игрушечные всадники, но шар скоро исчез из виду. Курочка все смотрела одним глазком.

Летела она весь день. День окончился широким ярким закатом. Ночью шар стал медленно опускаться.

А в одной деревушке на берегу Луары жил-был добрый хитроглазый крестьянин. Вот на заре вышел он в поле. Посреди поля увидел он диво: громадный ворох пестрых шелков. Рядышком лежала опрокинутая клетка. Курочка, белая, словно вылепленная из снега, просунув голову сквозь решетки и отрывисто поводя клювом, искала в траве букашек. Крестьянин испугался было, но скоро смекнул, что Богородица, чьи волосы осенними паутинами плыли

по воздуху, просто шлет ему подарок. Шелк жена его распродала по кускам в ближнем городе, маленькая золоченая гондола обратилась в люльку для туго спеленатого первенца, а курочку отправили на задний двор.

Слушай дальше. Протекло некоторое время, и вот однажды крестьянин, проходя мимо холмика половы в воротах амбара, услышал счастливое кудахтанье. Он нагнулся – из зеленой пыли выскочила курочка и юркнула на солнце, быстро и не без гордости переваливаясь с лапки на лапку. А в полове жарко и гладко горели четыре золотых яйца.

Да иначе и быть не могло. Курочка по воле ветра пролетела через сплошное зарево заката, и солнце, огненный петух с багряным гребнем, потрепыхало над ней. Не знаю, понял ли это крестьянин. Долго стоял он неподвижно, мигая и щурясь от блеска и держа в ладонях еще теплые, цельные золотые яйца. Затем, гремя деревянными башмаками, кинулся он через двор с таким воплем, что батрак его подумал: «Ишь, топором палец себе оттяпал...»

Впрочем, все это случилось очень давно, за много лет до того, как летчик Латам, упав посреди Ла-Манша, сидел, понимаешь ли ты, на стрекозином хвосте своей погружающейся «Антуанетты» и курил на ветру пожелтевшую папиросу, глядя, как там, высоко в небе, соперник его Блерио на маленькой тупокрылой машине летит в первый раз из Кале к сахарным берегам Англии.

Но я не могу побороть твою тоску. Почему глаза твои опять наполнились темнотой? Нет, не говори ничего. Я все знаю. Не надо плакать. Он ведь слышит, он несомненно слышит мою сказку. Я рассказываю для него. Словам нет преград. Пойми же! Ты смотришь на меня так скорбно и темно. Вспоминаю ночь после похорон. Ты не могла сидеть дома. Мы вышли с тобой в лаковую слякоть. Заблудились. Попали на какую-то странную узкую улицу. Название я прочел, но было оно на стекле фонаря, перевернутое, как в зеркале. Фонари уплывали в глубину. Вода стекала с крыш. Холодной ртутью наполнились бадьи, что рядами шли по обеим сторонам, вдоль черных стен. Наполнялись, переливались. И вдруг, растерянно разведя руками, ты проговорила:

«Он ведь был такой маленький, такой теплый...»

Прости, что я не умею плакать, просто, по-человечески, а все пою, бегу куда-то, цепляясь за все крылья, пролетающие мимо меня, высокий, растрепанный, с волной загара на лбу. Прости. Так надо.

Мы тихо идем вдоль заборов. Кладбище уже близко. Вот оно: островок весенней белизны и зелени среди пыльного пустыря. Теперь иди одна. Я подожду тебя здесь. Глаза твои улыбнулись быстро и стыдливо. Ты ведь хорошо знаешь меня...

Калитка скрипнула и захлопнулась. Я сижу один на жиденькой траве. Поодаль – огород: лиловая капуста. За пустырем – фабричные корпуса, легкие кирпичные громады, плавающие в голубой мути. У ног моих, в песчаной воронке, ржаво блестит продавленная жестянка. Кругом тихо и по-весеннему пусто. Смерти нет. Ветер, как мягкая кукла, наваливается сзади на меня, пуховой лапой щекочет мне шею. Смерти не может быть. Мое сердце тоже пролетело сквозь зарю. У нас с тобой будет новый золотой сын. Он создан будет из твоих слез и сказок моих. Сегодня понял я, как прекрасны скрещенные в небе проволоки, и туманная мозаика фабричных труб, и вот эта ржавая жестянка с вывернутой полуоторванной зубчатой крышкой. Тусклая травка бежит, бежит куда-то по пыльным волнам пустыря. Я поднимаю руки. По коже скользит солнце. Кожа вся в разноцветных искорках.

И вот хочется мне встать, распахнуть объятия, обратиться с широкой и светлой речью к невидимым толпам. Начать так: «Радужные боги...»

Рассказы, написанные по-русски (1920–1940)

Нежить

Я задумчиво пером обводил круглую, дрожащую тень чернильницы. В дальней комнате пробили часы, а мне, мечтателю, померещилось, что кто-то стучится в дверь – сперва тихонько, потом все громче; стукнул двенадцать раз подряд и выжидательно замер.

– Да, я здесь, войдите...

Ручка дверная застенчиво скрипнула, склонилось пламя слезящейся свечи, и он бочком вынырнул из прямоугольника мрака – согнутый, серый, запорошенный пылью ночи, морозной и звездистой...

Знал я лицо его – ах, давно знал!

Правый глаз был еще в тени, левый пугливо глядел на меня, продолговатый, дымчато-зеленый; и зрачок рдел, как точка ржавчины... А этот мшисто-серый клок на виске да бледно-серебристая, едва приметная бровь, – а смешная морщинка у безусого рта, – как это все дразнило, бередило смутно память мою!

Я встал, – он шагнул вперед.

Худое пальтишко застегнуто было как-то не так – по-женски; в руке он держал шапку, – нет, темный, неладный узелок, – шапки-то не было вовсе...

Да, конечно, я знал его – даже, пожалуй, любил, – только вот никак придумать не мог, где и когда мы встречались, а, верно, встречались мы часто, иначе я не запомнил бы так твердо вон этих бруснично-красных губ, заостренных ушей, кадыка забавного...

С приветливым бормотаньем я пожал его легкую, холодную руку, тронул спинку дряхлого кресла. Он сел, как ворона на пень, и заговорил торопливо:

– Так жутко на улицах. Я и зашел. Зашел проведать тебя. Узнаешь? Мы ведь с тобой, бывало, что ни день резвились вместе, аукались... Там – на родине... Неужто забыл?

Голос его словно ослепил меня, в глазах запестрело, голова закружилась; я вспомнил счастье, гулкое, безмерное, невозвратное счастье...

Нет, не может быть! Я – один... Это все – лишь бред прихотливый! Но рядом со мной и вправду кто-то сидел – костлявый, нелепый, в ушастых немецких сапожках, и голос его звенел, шелестел, золотой, сочно-зеленый, знакомый, – а слова были все такие простые, людские...

– Ну вот – вспомнил... Да, я – прежний Леший, задорная нежить... А вот и мне пришлось бежать...

Он вздохнул глубоко, и почудились мне вновь – тучи шатучие, высокие волны листвы, блестящие бересты что брызги пены да вечный, сладостный гул... Он нагнулся ко мне, мягко заглянул в глаза:

– Помнишь лес наш, ель черную, березу белую? Вырубили... Жаль было мне нестерпимо; вижу, березки хрустят, валяются, – а чем помогу? В болото загнали меня, плакал я, выл, выпью бухал, – да скоком, скоком в ближний бор.

Тосковал я там; все отхлипать не мог... Только стал привыкать – глядь, бора и нет, – одно сизое гарево. Опять пришлось побродяжить. Подыскал я себе лесок – хороший лесок был – частый, темный, свежий, – а все как-то не то... Бывало, от зари до зари играл я, свистал неистово, бил в ладоши, прохожих пугал... Сам помнишь: заплутался ты однажды в глуши моей – ты и белое платьице, – а я тропинки в узел связывал, стволы кружил, мигал сквозь листву, – всю ночь проморочил... Но я так только, шутки ради, даром что чернили меня... А

тут я присмирел; невеселое было новоселье... Днем и ночью вокруг все трещало что-то. Сперва я думал – свой брат, леший, там тешится; окликнул, прислушался. Трещит себе, громыхает, – нет, не по-нашему выходит. Раз, под вечер, выскочил я на прогалину – вижу, лежат люди – кто на спине, кто на брюхе. Ну, думаю, поразбужу их, расшевелю! Стал я ветвями встряхивать, шишками лукавля, шуршать, гукать... Битый час провозился – все ни к чему. А как ближе взглянул, так и обмер. У того голова на одной красной ниточке висит, у того вместо живота – ворох толстых червей... Не вытерпел я. Завыл, подпрыгнул и давай бежать...

Долго я скитался по лесам разным, а все житья нет. То тишь, пустыня, скука смертная, то жуть такая, что и лучше не вспоминать! Наконец решился: в мужичка перекинулся, в бродягу с котомкой, да и ушел совсем: прощай, Русь! Ну а там мне братец мой, Водяной, пособил. Тоже, бедняга, спасался. Все дивился он: времена, говорит, какие настали, – просто беда. И то сказать; он хоть и встарь баловался, людей там заманивал (уж очень был гостеприимен), да зато как лелеял, как ласкал их у себя на золотом дне, какими песнями чаровал! А нынче, говорит, все только мертвецы плывут, гроздьями плывут, видимо-невидимо, а влага речная что руда, густая, теплая, липкая; дышать нечем... Он меня и взял с собой. Сам-то в дальнем море мыкается, а меня на туманный бережок по пути высадил – иди, брат, найди себе кустик. Ничего я не нашел и попал сюда, в этот чужой, страшный, каменный город... Вот и стал я человеком, воротнички, сапожки, все как следует – даже научился говорить по-ихнему...

Он приумолк. Глаза его блестели, как мокрые листья, руки скрещены были, и в зыбком отблеске заплывшей свечи странно-странно мерцали бледные волосы, налево зачесанные.

– Я знаю, ты тоже тоскуешь, – снова зазвенел яркий голос, – но твоя тоска, по сравненью с моею буйной, ветровой тоской, – лишь ровное дыханье спящего. И подумай только: никого из племени нашего на Руси не осталось. Одни туманом взвились, другие разбрелись по миру. Родные реки печальны, ничья резвая рука не расплескивает лунных заблестков, сиротеют, молчат случайно не скошенные колокольчики – прежние голубые гусли легкого Полевого, соперника моего. Косматый, ласковый Постен покинул, плача, твой опозоренный, оплеванный дом, и зачахли рощи, умилительно-светлые, волшебнo-мрачные рощи...

А ведь мы вдохновенье твое, Русь, непостижимая твоя красота, вековое очарованье... И все мы ушли, изгнанные безумным землемером.

Друг, я скоро умру, скажи мне что-нибудь, скажи, что любишь меня, бездомного призрака, подсядь ближе, дай руку...

Зашипев, погасла свеча. Холодные пальцы коснулись ладони моей, грустный, знакомый смех прозвенел и умолк.

Когда я свет зажег, уж никого в кресле не было... никого... Только в комнате чудесно-тонко пахло березой да влажным мхом...

Слово

Унесенный из дольней ночи вдохновенным ветром сновиденья, я стоял на краю дороги, под чистым небом, сплошь золотым, в необычайной горной стране. Я чувствовал, не глядя, глянec, углы и грани громадных мозаичных скал, и ослепительные пропасти, и зеркальное сверканье многих озер, лежащих где-то внизу, за мною. Душа была схвачена ощущением божественной разноцветности, воли и вышины: я знал, что я в раю. Но в моей земной душе острым пламенем стояла единая земная мысль, – и как ревниво, как сурово охранял я ее от дыханья исполинской красоты, окружившей меня... Эта мысль, это голое пламя страданья, была мысль о земной моей родине: босой и нищий, на краю горной дороги я ждал небожителей, милосердных и лучезарных, – и ветер, как предчувствие чуда, играл в моих волосах, хрустальным гулом наполнял ущелья, волновал сказочные шелка деревьев, цветущих между скал, вдоль дороги; вверх по стволам взлизывали длинные травы, словно языки огня; крупные цветы плавно срывались с блестящих ветвей и, как летучие чаши, до краев налитые солнцем, скользили по воздуху, раздувая прозрачные, выпуклые лепестки; запах их, сырой и сладкий, напоминал мне все лучшее, что изведal я в жизни.

И внезапно дорога, на которой я стоял, задыхаясь от блеска, наполнилась бурей крыл... Толпой вырастая из каких-то ослепительных провалов, шли жданные ангелы, углом поднося сложенные крылья. Их поступь казалась воздушной, словно движение цветных облаков, прозрачные лики были недвижны, только восторженно дрожали лучистые ресницы. Между ними парили бирюзовые птицы, заливаясь счастливым девическим смехом, и скакали гибкие оранжевые звери в причудливых черных крапах: извивались они в воздухе, бесшумно выбрасывали атласные лапы, ловили летящие цветы, – и кружась, и взвиваясь, и сияя глазами, пронеслись мимо меня...

Крылья, крылья, крылья! Как передам изгибы их и оттенки? Все они были мощные и мягкие – рыжие, багряные, густо-синие, бархатно-черные с огненной пылью на круглых концах изогнутых перьев. Стремительно стояли эти крутые тучи над светящимися плечами ангелов; иной из них, в каком-то дивном порыве, будто не в силах сдержать блаженства, внезапно, на одно мгновение, распаивал свою крылатую красоту, и это было как всплеск солнца, как сверканье миллионов глаз.

Толпы их проходили, взирая ввысь. Я видел: очи их – ликующие бездны, в их очах – замيرانье полета. Шли они плавной поступью, осыпaeмые цветами. Цветы проливали на лету свой влажный блеск; играли, крутятся и взвиваясь, яркие гладкие звери; блаженно звенели птицы, взмывая и опускаясь, – а я, ослепленный, трясущийся нищий, стоял на краю дороги, и в моей нищей душе все та же лепетала мысль: взмолиться бы, взмолиться к ним, рассказать, ах, рассказать, что на прекраснейшей из Божьих звезд есть страна – моя страна, – умирающая в тяжелых мороках. Я чувствовал, что, захвати я в горсть хоть один дрожащий отблеск, я принес бы в мою страну такую радость, что мгновенно озарились бы, закружились людские души под плеск и хруст воскресшей весны, под золотой гром проснувшихся храмов...

И, вытянув дрожащие руки, стараясь преградить ангелам путь, я стал хвататься за края их ярких риз, за волнистую, жаркую бахрому изогнутых перьев, скользящих сквозь пальцы мои, как пушистые цветы. Я стонал, я метался, я в исступленье вымаливал подаянье, но ангелы шли вперед и вперед, не замечая меня, обратив ввысь точеные лики. Стремилась их сонма на райский праздник, в нестерпимо сияющий просвет, где клубилось и дышало Божество: о нем я не смел помыслить. Я видел огненные паутины, брызги, узоры на гигантских, рдяных, рыжих, фиолетовых крыльях, – и надо мной проходили волны пушистого шелеста, шныряли бирюзовые птицы в радужных венцах, плыли цветы, срываясь с блестящих ветвей... «Стоять, выслушай меня», – кричал я, пытаюсь обнять легкие ангельские ноги, – но их ступни – неощу-

тимые, неудержимые – скользили через мои протянутые руки, и края широких крыл, вея мимо, только опаляли мне губы. И вдали золотой просвет между сочно и четко расцветенных скал заполнялся их плещущей бурей; уходили они, уходили, замирал высокий взволнованный смех райских птиц, перестали слетать цветы с деревьев; я ослабел, затих...

И тогда случилось чудо: отстал один из последних ангелов, и обернулся, и тихо приблизился ко мне. Я увидел его глубокие, пристальные алмазные очи под стремительными дугами бровей. На ребрах раскинутых крыл мерцал как будто иней, а сами крылья были серые, неописуемого оттенка серого, – и каждое перо оканчивалось серебристым серпом. Лик его, очерк чуть улыбающихся губ и прямого, чистого лба напоминал мне черты, виденные на земле. Казалось, слились в единый чудесный лик изгибы, лучи и прелесть всех любимых мною лиц, – черты людей, давно ушедших от меня. Казалось, все те знакомые звуки, что отдельно касались слуха моего, – ныне заключены в единый совершенный напев.

Он подошел ко мне, он улыбался, я не мог смотреть на него. Но, взглянув на его ноги, я заметил сетку голубых жилок на ступне и одну бледную родинку, – и по этим жилкам, и по этому пятнышку – я понял, что он еще не совсем отвернулся от земли, что он может понять мою молитву.

И тогда, склонив голову, прижав обожженные, яркой глиной испачканные ладони к ослепленным глазам, я стал рассказывать свою скорбь. Хотелось мне объяснить, как прекрасна моя страна и как страшен ее черный обморок, но нужных слов я не находил. Торопясь и повторяясь, я лепетал все о каких-то мелочах, о каком-то сгоревшем доме, где некогда солнечный лоск половиц отражался в наклонном зеркале, – о старых книгах и старых липах лепетал я, о безделушках, о первых моих стихах в кобальтовой школьной тетради, о каком-то сером валуне, обросшем дикой малиной посреди поля, полного скабиоз и ромашек, – но самое главное я никак высказать не мог, – путался я, осекался, и начинал сызнова, и опять беспомощной скороговоркой рассказывал о комнатах в прохладной и звонкой усадьбе, о липах, о первой любви, о шмелях, спящих на скабиозах... Казалось мне, что вот сейчас-сейчас дойду до самого главного, объясню все горе моей родины, – но почему-то я мог вспомнить только о вещах маленьких, совсем земных, не умеющих ни говорить, ни плакать теми крупными, жгучими, страшными слезами, о которых я хотел и не мог рассказать...

Замолк я, поднял голову. Ангел с тихой внимательной улыбкой неподвижно смотрел на меня своими продолговатыми алмазными очами – и я почувствовал, что понимает он все.

– Прости меня, – воскликнул я, робко целуя родинку на светлой ступне, – прости, что я только умею говорить о мимолетном, о малом. Но ты ведь понимаешь... Милосердный, серый ангел, ответь же мне, помоги, скажи мне, что спасет мою страну?

И, на мгновенье обняв плечи мои голубиными своими крылами, ангел молвил единственное слово, – и в голосе его я узнал все любимые, все смолкнувшие голоса. Слово, сказанное им, было так прекрасно, что я со вздохом закрыл глаза и еще ниже опустил голову. Пролилось оно благовоньем и звоном по всем жилам моим, солнцем встало в мозгу – и бесчисленные ущелья моего сознания подхватили, повторили райский сияющий звук. Я наполнился им; тонким узлом билось оно в виску, влагой дрожало на ресницах, сладким холодом веяло сквозь волосы, божественным жаром обдавало сердце.

Я крикнул его, наслаждаясь каждым слогом, я порывисто вскинул глаза в лучистых радугах счастливых слез...

Господи! Зимний рассвет зеленеет в окне, и я не помню, что крикнул...

Удар крыла

I

Когда одна лыжа гнутым концом найдет на другую, то валишься вперед: жгучий снег забирается за рукава, и очень трудно встать. Керн, давно на лыжах не бегавший, сразу вспотел. Чувствуя легкое головокружение, он сдернул шерстяную шапку, щекотавшую ему уши; смахнул с ресниц влажные искры.

Весело и лазурно было перед шестиярусной гостиницей. В сиянии стояли бесплотные деревья. По плечу снеговых холмов рассыпались бесчисленные лыжные следы, что теневые волосы. А кругом – неслась в небо и в небе вольно вспыхивала – исполинская белизна.

Керн, скрипя лыжами, взбирался по скату. Заметя ширину его плеч, конский профиль и крепкий лок на скулах, его приняла за своеземца та англичанка, с которой он познакомился вчера, в третий день приезда. Изабель – летучая Изабель – так называла ее толпа гладких и матовых молодых людей аргентинского пошиба, всюду сновавших за ней: в бальной зале гостиницы, на мягких лестницах и по снежным скатам в игре искристой пыли...

Облик у нее был легкий и стремительный, рот такой яркий, что казалось, Творец, набрав в ладонь жаркого кармина, горстью хватил ее по нижней части лица. В пушистых глазах летала усмешка. Крылом торчал испанский гребень в крутой волне волос – черных с атласным отливом. Такой видел ее Керн вчера, когда глуховатый гул гонга вызвал ее к обеду из комнаты № 35. И то, что они были соседи, причем номер ее комнаты был числом его лет, и то, что в столовой за длинным табль-д'от она сидела против него – высокая, веселая, в черном открытом платье, с черной полоской шелка вокруг голой шеи, – все это показалось Керну таким значительным, что прояснилась на время тусклая тоска, вот уже полгода тяготевшая над ним.

Изабель первая заговорила, и он не удивился: жизнь в этой огромной гостинице, одиноко горящей в провале гор, билась пьяно и легко после мертвых лет войны; к тому же ей, Изабель, все было дозволено – и косой удар ресниц, и смех, запевший в голосе, когда она сказала, передавая Керну пепельницу:

– Мы с вами, кажется, единственные англичане здесь... – И добавила, пригнув к столу прозрачное плечо, схваченное черной ленточкой: – ...не считая, конечно, полдюжины старушек – и вон того, с воротничком задом наперед...

Керн отвечал:

– Вы ошибаетесь. У меня родины нет. Правда, я пробыл много лет в Лондоне. А кроме того...

Утром, на следующий день, он почувствовал вдруг, после полугода привычного равнодушия, как приятно войти в оглушительный конус ледяного душа. В девять часов, плотно, толково позавтракав, он захрустел лыжами по рыжему песку, которым посыпался голый блеск дорожки перед крыльцом гостиницы. Взобравшись по снежному скату – утиными шагами, как полагается лыжнику, – он увидел среди клетчатых рейтуз и горящих лиц – Изабель.

Она поздоровалась с ним по-английски: одним взмахом улыбки. Ее лыжи отливали оливковым золотом. Снег облепил сложные ремни, державшие ступни ее ног, не по-женски сильных, стройных в крепких сапогах и в плотных обмотках. Лиловая тень скользнула за ней по насту, когда, непринужденно заложив руки в карманы кожаной куртки и слегка выставив вперед левую лыжу, она понеслась вниз по скату, все быстрее, в развевающемся шарфе, в струях снежной пыли. Затем на полном ходу она круто завернула, гибко согнув одно колено, и снова выпрямилась и понеслась дальше, мимо елок, мимо бирюзовой площадки катка. Двое юношей

в расписных свэтерах и знаменитый шведский спортсмен с терракотовым лицом и бесцветными, назад зачесанными волосами пролетели вслед за ней.

Немного позже Керн снова встретил ее, близ голубой дорожки, по которой с легким грохотом мелькали люди – шерстяные лягушки, ничком на плоских санках. Изабель, блеснув лыжами, скрылась за поворот сугроба, – и когда Керн, стыдясь своих неловких движений, догнал ее в мягкой ложбине, среди ветвей, овеянных серебром, она поиграла пальцами в воздухе и, потапывая лыжами, побежала дальше. Керн постоял в лиловых тенях, и внезапно знакомым ужасом пахнула на него тишина. Кружева ветвей в эмалевом воздухе стыли, как в страшной сказке. Странными игрушками показались ему и деревья, и узорные тени, и лыжи его. Он почувствовал, что устал, что натер себе пятку, и, зацепляя торчавшие ветви, он повернул назад. По гладкой бирюзе реяли механические бегуны. Дальше, на снежном скате, терракотовый швед помогал встать на ноги длинному господину в роговых очках, облепленных снегом. Тот барахтался в сверкающей пыли, словно неуклюжая птица. Как отломанное крыло, лыжа, сорвавшись с ноги, быстро стекала по скату.

Вернувшись к себе в номер, Керн переоделся, и когда загудели тупые раскаты гонга, позвонил и велел подать себе холодного ростбифа, винограду и флягу кианти.

Он ощущал в плечах, в ляжках ноющую ломоту.

«Вольно мне было бегать за ней, – подумал он, усмехнувшись в нос. – Человек прикручивает к ногам пару досок и наслаждается законом притяжения. Это смешно».

Около четырех он спустился в просторную читальню, где оранжевым жаром дышала пасть камина и в глубоких кожаных креслах невидимые люди вытягивали ноги из-под завес распахнутых газет. На длинном дубовом столе валялась куча журналов, полных туалетных объявлений, танцовщиц и парламентских цилиндров. Керн отыскал рваный номер «Татлера» за июль прошлого года и долго разглядывал в нем улыбку той женщины, которая в продолжение семи лет была его женой. Вспомнил ее мертвое лицо, ставшее таким холодным и крепким, – письма, найденные в шкапулке.

Оттолкнул журнал, скрипнув ногтем по лоснистой странице.

Затем, тяжело двигая плечами и сопя короткой трубкой, он прошел на огромную крытую веранду, где зябко играл оркестр и люди в ярких шарфах пили крепкий чай, готовые снова лететь на мороз, на скаты, что гудящим блеском били в широкие стекла. Ищущими глазами он оглядел веранду. Чей-то любопытный взгляд кольнул его, как игла, задевшая зубной нерв. Он круто повернул обратно.

В бильярдной, куда он боком вошел, упруго надавив дубовую дверь, – Монфиори, бледный, рыжий человек, признающий только Библию и карамболи, пригнулся к изумрудному сукну и целился в шар, взад и вперед скользя кием. Керн на днях познакомился с ним, и тот сразу осыпал его цитатами из Священного Писания. Он говорил, что пишет большой труд, в котором доказывает, что если особым образом вникнуть в книгу Иова, то тогда... – Но дальше Керн не слушал, так как вдруг обратил внимание на уши своего собеседника – острые, набитые канареечной пылью и с рыжим пушком на кончиках.

Чокнулись, разбежались шары. Монфиори, подняв брови, предложил партию. У него были грустные, слегка выпуклые глаза, какие бывают у коз.

Керн согласился было, даже потер кончик кия мелком, но, внезапно ощутив волну дикой скуки, от которой ныло под ложечкой и шумело в ушах, он сослался на ломоту в локте и, мимоходом взглянув в окно на сахарное сияние гор, вернулся в читальню.

Там, закинув ногу на ногу и вздрагивая лаковым башмаком, он снова разглядывал жемчужно-серый снимок – детские глаза и теньевые губы лондонской красавицы – его покойной жены. В первую ночь после вольной смерти ее он пошел за женщиной, которая улыбнулась ему на углу туманной улицы: мстил Богу, любви, судьбе.

А теперь эта Изабель с красным всплеском вместо рта. Если бы можно было...

Он сжал зубы: заходили мускулы крепких скул. Вся прошлая жизнь представилась ему зыбким рядом разноцветных ширм, которыми он ограждался от космических сквозняков. Изабель – последний яркий лоскуток. Сколько их было уже, шелковых тряпок этих, как он силился занавесить ими черный провал! Путешествия, книги в нежных переплетах, семилетняя восторженная любовь. Они вздувались, лоскутки эти, от внешнего ветра, рвались, спадали один за другим. А провала не скрыть, бездна дышит, всасывает. Это он понял, когда сыщик в замшевых перчатках...

Керн почувствовал, что раскачивается взад и вперед и что какая-то бледная барышня с розовыми бровями смотрит на него из-за журнала. Он взял «Таймс» со стола, распахнул исполтинские листы. Бумажное покрывало над бездной. Люди выдумывают преступления, музеи, игры только для того, чтобы скрыться от неизвестного, от головокружительного неба. И теперь эта Изабель...

Откинув газету, он потер лоб огромным кулаком и снова заметил на себе чей-то удивленный взгляд. Тогда он медленно вышел из комнаты, мимо читавших ног, мимо оранжевой пасти камина. Заблудился в звонких коридорах, попал в какую-то залу, где в паркете отражались белые ножки выгнутых стульев и висела на стене широкая картина: Вильгельм Телль, пронзающий яблоко на голове сына; затем долго разглядывал свое бритое тяжелое лицо, кровавые ниточки на белках, клетчатый бант галстука – в зеркале, блиставшем в светлой уборной, где музыкально журчала вода и плавал в фарфоровой глубине кем-то брошенный золотой окурок.

А за окном гасли и синели снега. Нежно зацветало небо. Лопастные вращающиеся двери у входа в гулкий вестибюль медленно поблескивали, впуская облака пара и фыркающих ярколиных людей, уставших от снежных игр. Лестницы дышали шагами, возгласами, смехом. Затем гостиница замерла: переодевались к обеду.

Керн, смутно задремавший в кресле, в сумерках комнаты, был разбужен гудением гонга. Радуюсь внезапной бодрости, он зажег свет, вставил запонки в манжеты свежей крахмальной рубашки, вытянул плоские черные штаны из-под скрипнувшего пресса. Через пять минут, чувствуя прохладную легкость, плотность волос на темени, каждую линию своих отчетливых одежд, он спустился в столовую.

Изабель не было. Подали суп, рыбу – она не являлась.

Керн с отвращением оглядел матовых юношей, кирпичное лицо старухи с мушкой, скрывавшей прыщ, человека с козыми глазками – и хмуро уставился на кудрявую пирамидку гиацинтов в зеленом горшке.

Она явилась только тогда, когда в зале, где висел Вильгельм Телль, застучали и завыли негритянские инструменты.

От нее пахло морозом и духами. Волосы казались влажными. Что-то в ее лице поразило Керна.

Она ярко улыбнулась, поправляя на прозрачном плече черную ленточку.

– Я, знаете, только что пришла домой. Едва успела переодеться и проглотить сэндвич.

Керн спросил:

– Неужели вы до сих пор на лыжах бегали? Ведь совершенно темно.

Она посмотрела на него в упор, и Керн понял, что поразило его: глаза; они сияли, словно опущенные инеем.

Изабель тихо заскользила по голубиным гласным английской речи:

– Конечно. Было удивительно. Я в темноте носилась по скатам, взлетала с выступов.

Прямо в звезды.

– Вы могли убиться, – сказал Керн.

Она повторила, пушисто щурясь:

– Прямо в звезды. – И добавила, сверкнув голой ключицей: – А теперь я хочу танцевать...

В зале трещал и подпевал негритянский оркестр. Цветисто плыли японские фонари. На носках, то быстрыми, то замирающими шагами, прижав ладонь к ее ладони, Керн тесно наступал на Изабель. Шаг – и упиралась в него ее стройная нога, шаг – и она упруго ему уступала. Душистый холод ее волос шекотал ему висок, под ребром правой руки он ощущал гибкие перегибы ее оголенной спины. Не дыша, входил он в звуковые провалы, снова скользил с такта на такт... Кругом проплывали напряженные лица угловатых пар, развратно-рассеянные глаза. И тусклое пение струн перебивалось постукиванием варварских молоточков.

Музыка ускорилась, вздулась, затрещала и смолкла. Все остановились, затем захлопали в ладони, требуя продолжения того же танца. Но музыканты решили передохнуть.

Керн, вынудив из-за манжеты платок и вытирая лоб, последовал за Изабель, которая, раскачивая черной веер, пошла к дверям. Они рядом сели на ступеньке широкой лестницы.

Изабель, не глядя на него, сказала:

– Простите... Мне казалось, что я все еще в снегах, в звездах. Я даже не заметила, кто вы и хорошо ли танцуете.

Керн глухо взглянул на нее – и точно: она была погружена в свои сияющие думы, в думы, неведомые ему.

На ступеньке ниже сидел юноша в очень узком жакете и костлявая барышня с родинкой на лопатке. Когда снова запела музыка, юноша пригласил Изабель на бостон. Керну пришлось танцевать с костлявой барышней. От нее кислотовато пахло лавандой. По зале расплелись цветные бумажные ленты, опутывали танцующих. Один из музыкантов налепил себе белые усы, и Керну почему-то стало стыдно за него. Когда танец кончился, он, бросив свою даму, метнулся отыскивать Изабель. Ее нигде не было, ни в буфете, ни на лестнице.

«Кончено. Спать», – кратко подумал Керн.

У себя в комнате, перед тем как лечь, он отвернул занавеску, без мысли поглядел в ночь. Перед гостиницей на темном снегу лежали отражения окон. Вдали металлические вершины гор плавали в гробовом сиянии.

Ему показалось, что он заглянул в смерть. Плотно сдвинул складки: так, чтобы ни единый ночной луч не втекал в комнату. Но, выключив свет, он с постели заметил, что блестит край стеклянной полочки. Тогда он встал и долго возился у окна, проклиная лунные брызги. Пол был холоден как мрамор.

Когда Керн закрыл глаза, распустив поясок пижамы, под ним потекли скользкие скаты, – и гулко застучало сердце, словно весь день молчало, а теперь воспользовалось тишиной. Ему страшно стало слушать этот стук. Вспомнил, как однажды, с женой, он проходил в очень ветреный день мимо мясной лавки, и на крюке качалась туша, глухо бухала об стену. Вот как сердце его теперь. А жена шурилась от ветра, придерживая широкую шляпу, и говорила, что море и ветер сводят ее с ума, что надо уехать, надо уехать...

Керн перевалился на другой бок – осторожно, – чтобы не лопнула грудь от выпуклых ударов.

Нельзя так дальше, пробормотал он в подушку, с тоской подобрал ноги. Полежал на спине, глядя в потолок, где тускло белели пробившиеся лучи – как ребра.

Когда он опять зажмурился, поплыли перед ним тихие искры, затем прозрачные спирали, которые раскручивались бесконечно. Мелькнули снежные глаза и огненный рот Изабель – и опять искры, спирали. Сердце на миг сжалось в острый комок: раздулось, бухнуло.

«Нельзя так дальше, я с ума схожу. Вместо будущего – черная стена. Ничего нет».

Ему почудилось, что бумажные ленты скользят у него по лицу. Тонко шуршат и рвутся. И японские фонари текут цветной зыбью в паркете. Он танцует, наступает.

«Только бы вот разжать, распахнуть ее... А затем...»

И смерть ему представилась гладким сном, мягким падением. Ни мыслей, ни сердцебиения, ни ломоты.

Лунные ребра на потолке незаметно переменили место. По коридору тихо простучали шаги, где-то щелкнула задвижка, пролетел легкий звонок – и опять шаги, разные: бормотание шагов, лепет шагов...

«Это, значит, кончился бал», – подумал Керн. Перевернул душную подушку.

Теперь стыла кругом громадная тишина. Только сердце раскачивалось, тугое и тяжелое. Керн нащупал на ночном столике графин, глотнул из горлышка. Ледяная струйка обожгла шею, ключицу.

Он стал припоминать снотворные средства: вообразил волны, равномерно набегающие на берега. Затем пухлых серых овец, медленно перекатывающихся через плетень. Одна овца, вторая, третья...

«А в соседней комнате спит Изабель, – подумал Керн, – спит Изабель, в желтой пижаме, вероятно. Ей желтое идет. Испанский цвет. Если бы я поскреб ногтем по стене, она бы услышала. Ох, эти перебои...»

Он заснул в ту минуту, когда стал решать про себя, стоит ли зажечь лампу и почитать что-нибудь. На кресле валяется французский роман. Костяной нож скользит, режет страницы. Одну, вторую...

Он проснулся посреди комнаты – проснулся от чувства невыносимого ужаса. Ужас сшиб его с постели. Приснилось, что стена, у которой стоит кровать, стала медленно на него валиться – и вот он отскочил с судорожным выдохом.

Ощупью Керн стал отыскивать изголовье и, найдя его, тотчас бы заснул опять, если бы не звук, раздавшийся за стеной. Он не сразу понял, откуда звук этот исходит, – и оттого, что он напряг слух, его сознание, которое скользнуло было по склону сна, круто прояснилось. Звук повторился: дзынь – и густой перелив гитарных струн.

Керн вспомнил: ведь в соседнем номере Изабель. Тотчас, как бы откликнувшись его мысли, за стеной легко прокатился ее смех. Дважды, трижды дрогнула и рассыпалась гитара. И затем прозвучал и затих странный, отрывистый лай.

Керн, сидя на постели, изумленно вслушивался. Нелепая картина представилась ему. Изабель с гитарой и громадный дог, глядящий снизу на нее – блаженными глазами. Он приложил ухо к холодной стене. Лай лязгнул опять, гитара брякнула, как от щелчка, и волнами заходил непонятный шорох, словно там, в соседней комнате, за клубился широкий ветер. Шорох вытянулся в тихий свист, – и ночь снова налилась тишиной. Затем стукнула рама: Изабель заперла окно.

«Неугомонная, – подумал он, – пес, гитара, морозные сквозняки».

Теперь все было тихо. Изабель, выпроводив звуки, игравшие у нее по комнате, вероятно, легла – спит.

– К чорту! Ничего не понимаю. Ничего нет у меня. К чорту, к чорту, – простонал Керн, зарываясь в подушку. Свинцовая усталость сжимала ему виски. В ногах была тоска, невыносимые мурашки. Долго он скрипел в темноте, тяжело переваливаясь. Лучи на потолке давно потухли.

II

На следующий день Изабель появилась только за вторым завтраком.

С утра небо слепило белизной, солнце походило на луну; затем пошел медленный отвесный снег. Частые хлопья, как мушки на белой вуали, занавесили вид на горы, отяжелевшие елки, помутившуюся бирюзу катка. Крупные и мягкие снежинки шуршали по стеклам окон, падали, падали, без конца. Если долго на них смотреть, начинало казаться, что вся гостиница тихо плывет вверх.

– Я так вчера устала, – говорила Изабель, обращаясь к своему соседу, молодому человеку с высоким оливковым лбом и стрелчатыми глазами, – так устала, что решила понежиться в постели.

– Вид у вас сегодня оглушительный, – протянул молодой человек с экзотической любезностью.

Она насмешливо раздула ноздри. Керн, посмотрев на нее через гиацинты, сказал холодно:

– А я не знал, мисс Изабель, что у вас в комнате собака, а также и гитара.

Ему показалось, что ее пушистые глаза еще более сузились – от ветерка смущения. Затем она вспыхнула улыбкой: кармин и слоновая кость.

– Вы вчера слишком долго гуляли под музыку, мистер Керн, – отвечала она, и оливковый юноша и человечек, признававший только Библию и бильярд, засмеялись – первый сочным гоготом, второй совсем тихо и подняв брови.

Керн поглядел исподлобья и сказал:

– Я вообще попросил бы вас не играть ночью. Сон у меня не очень легкий.

Изабель полоснула его по лицу быстрым сияющим взглядом:

– Это вы уж скажите вашим сновидениям, а не мне.

И заговорила с соседом о том, что завтра – лыжное состязание.

Керн уже несколько минут чувствовал, что губы его растягиваются в судорожную усмешку, которую он не мог удержать. Она мучительно дергалась в уголках рта, – и захотелось ему вдруг – стянуть со стола скатерть, запустить в стену горшок с гиацинтами.

Он поднялся, стараясь скрыть нестерпимую дрожь, и, никого не видя, вышел из комнаты.

«Что это со мной делается? – спрашивал он у своей тоски. – Что это такое?»

Пинком раскрыв чемодан, он стал укладывать вещи, – сразу закружилась голова; он бросил и опять зашагал по комнате. Со злобой набил короткую трубку. Сел в кресло у окна, за которым с тошнотворной ровностью падал снег.

Он приехал в эту гостиницу, в этот морозный и модный уголок Церматта, чтобы слить впечатления белой тишины с приятностью легких и пестрых знакомств – ибо полного одиночества он боялся пуще всего. А теперь он понял, что и людские лица нестерпимы ему, – что от снега гудит в голове – и что нет у него той вдохновенной живости и нежного упорства, без которых страсть бессильна. А для Изабель жизнь, вероятно, великолепный лыжный полет, стремительный смех – духи и мороз.

Кто она? Светописная ли дива, вырвавшаяся на волю? Или сбжавшая дочь чванного и желчного лорда? Или просто одна из тех женщин из Парижа, а деньги – неведомо откуда? Пошловатая мысль...

«А собака-то у нее есть, напрасно отнекивается: гладкий дог какой-нибудь. С холодным носом и теплыми ушами. А снег все идет, – беспорядочно думал Керн. – А у меня есть в чемодане... – И словно пружина, звякнув, раскрутилось у него в мозгу: – Парабеллум».

До вечера он опять валандался по гостинице, сухо шуршал газетами в читальне; видел из окна вестибюля, как Изабель, швед и несколько молодых людей в пиджаках, натянутых на бахромчатые свэтеры, садились в сани, по-лебединому выгнутые. Чалые лошадки звенели нарядной сбруей. Валил снег тихо и густо. Изабель, вся в белых звездинках, восклицала, смеялась между спутников своих, и когда санки дернулись, понеслись – откинулась назад, всхлипнув и хлопнув меховыми рукавицами.

Керн отвернулся от окна.

– Катайся, катайся... Ничего...

Потом, во время обеда, он старался не глядеть на нее. Она была как-то празднично и взволнованно весела, – и на него не обращала внимания. В девять часов опять заняла и закло-

хтала негритянская музыка. Керн, в тоскливом ознобе, стоял у косяка дверей, глядел на слипшиеся пары, на кудрявый черный веер Изабель.

Тихий голос у самого уха сказал:

– Пойдемте в бар... Хотите?

Он обернулся и увидел: меланхолические козы глаза, уши в рыжем пуху.

В баре был пунцовый полусвет, воланы абажуров отражались в стеклянных столиках. У металлической стойки, на высоких табуретах сидели три господина – все трое в белых гетрах, – поджав ноги и всасывая сквозь соломинки яркие напитки. По другой стороне стойки, где на полках поблескивали разноцветные бутылки, словно коллекция выпуклых жуков, жирный черноусый человек в малиновом смокинге необычайно искусно мешал коктейли. Керн и Монфиори выбрали столик в бархатной глубине бара. Лакей распахнул длинный список напитков – бережно и благоговейно, как антиквар, показывающий дорогую книгу.

– Мы будем пить подряд по одной рюмке, – сказал ему Монфиори своим грустным голосом. – А когда дойдем до конца, начнем опять. Будем тогда выбирать только то, что пришлось нам по вкусу. Быть может, остановимся на одном и долго будем им наслаждаться. Затем опять начнем сначала.

Он задумчиво посмотрел на лакея:

– Поняли?

Лакей наклонил пробор.

– Это так называемое странствие Вакха, – с печальной усмешкой обратился Монфиори к Керну. – Некоторые люди и в жизни применяют такой прием.

Керн заглушил зябкий зевок.

– Это, знаете, кончается рвотой.

Монфиори вздохнул. Отпил. Причмокнул. Выдвижным карандашиком отметил крестиком первый номер в списке. От крыльев носа шли у него две глубокие борозды к уголкам тонкого рта.

После третьей рюмки Керн молча закурил. После шестой – это была какая-то приторная смесь шоколада и шампанского – ему захотелось говорить.

Он выпустил рупор дыма; шурясь, отряхнул пепел желтым ногтем.

– Скажите, Монфиори, что вы думаете об этой – как ее – Изабель?..

– Вы ничего от нее не добьетесь, – ответил Монфиори. – Она из породы скользких. Ищет только прикосновений.

– Но она ночью играет на гитаре, с собакой возится. Это скверно, не правда ли? – сказал Керн, выпучив глаза на свою рюмку.

Монфиори опять вздохнул:

– Да бросьте вы ее. Право...

– Это вы, по-моему, из зависти, – начал было Керн.

Тот тихо перебил его:

– Она женщина. А у меня, видите ли, другие вкусы.

Скромно кашлянул. Поставил крестик.

Рубиновые напитки сменились золотыми. Керн чувствовал, что кровь у него становится сладкая. В голове туманилось. Белые гетры покинули бар. Умолкли дробь и напевы далекой музыки.

– Вы говорите, что нужно выбирать... – густо и вяло говорил он. – А я, понимаете, дошел до такой точки... Вот слушайте: у меня была жена. Она полюбила другого. Тот оказался вором. Крал автомобили, ожерелья, меха... И она отравилась. Стрихнином.

– А в Бога вы верите? – спросил Монфиори с видом человека, который попадает на своего конька. – Ведь Бог-то есть.

Керн фальшиво засмеялся:

– Библейский Бог. Газообразное позвоночное... Не верю.

– Это из Хукслея, – вкрадчиво заметил Монфиори. – А был библейский Бог... Дело в том, что Он не один; много их, библейских богов... Сонмище... Из них мой любимый... «От чихания Его показывается свет; глаза у Него как ресницы зари». Вы понимаете, понимаете, что это значит? А? И дальше: «...мясистые части тела Его сплочены между собой твердо, не дрогнут». Что? Что? Понимаете?

– Стойте, – крикнул Керн.

– Нет, вникайте, вникайте. «Он море претворяет в кипящую мазь, оставляет за собою светящуюся стезю: бездна кажется сединою!»

– Стойте же, наконец, – перебил Керн. – Я хочу вам сказать, что я решил покончить с собой...

Монфиори мутно и внимательно взглянул на него, ладошкой прикрыв рюмку. Помолчал.

– Я так и думал, – неожиданно мягко заговорил он. – Сегодня, когда вы смотрели на танцующих, и раньше, когда встали из-за стола... Было что-то в вашем лице... Морщинка между бровей... Особая... Я сразу понял...

Он затих, поглаживая край столика.

– Слушайте, что я вам скажу, – продолжал он, опустив тяжелые лиловые веки в бородавках ресниц. – Я повсюду ищу таких, как вы, – в дорогах гостиницах, в поездах, на морских курортах, – ночью, на набережных больших городов...

Мечтательная усмешка скользнула по его губам.

– Я помню, однажды, во Флоренции...

Он медленно поднял свои козы глаза:

– Послушайте, Керн, я хочу присутствовать... Можно?

Керн, сутуло застывший, почувствовал холод в груди под крахмальной рубашкой.

«Мы оба пьяны... – пронеслось у него в мозгу. – Страшный он».

– Можно? – вытягивая губы, повторил Монфиори. – Я вас очень прошу.

Коснулся холодной волосатой ручкой...

– К чорту! Пустите меня... Я шутил...

Монфиори все так же внимательно смотрел, присасываясь глазами.

– Надоели вы мне! Все надоело, – рванулся, всплеснув руками, Керн, – и взгляд Монфиори оторвался, как бы чмокнув...

– Муть! Кукла!.. Игра слов!.. Баста!..

Он больно стукнулся бедром о край столика. Малиновый толстяк за своей зыбкой стойкой выпучил белый вырез, заплывал, как в кривом зеркале, среди своих бутылок. Керн прошел по скользившим волнам ковра, плечом толкнул стеклянную падавшую дверь.

Гостиница глухо спала. С трудом поднявшись по мягкой лестнице, он отыскал свой номер. В соседней двери торчал ключ. Кто-то забыл запереться. В тусклом свете змеились цветы в коридоре. У себя в комнате он долго шарил по стене, ища электрическую кнопку. Затем рухнул в кресло у окна.

Он подумал, что нужно написать кое-какие письма. Прощальные. Но густой и липкий хмель ослабил его. В ушах клубился глухой гул, по лбу веяли ледяные волны. Надо было письмо написать, – и еще что-то не давало ему покоя. Точно он вышел из дома и забыл бумажник. В зеркальной черноте окна отражалась полоска воротника, бледный лоб. Пьяными каплями он забрызгал себе спереди рубашку. Письмо надо писать – нет, не то. И внезапно что-то мелькнуло в глазах. Ключ! Ключ, торчавший в соседней двери...

Керн тяжело встал, вышел в тусклый коридор. С громадного ключа спадала блестящая пластинка с цифрой 35. Он остановился перед этой белой дверью. Жадная дрожь потекла по ногам.

Морозный ветер хлестнул его по лбу. В просторной освещенной спальне окно было распахнуто. На широкой постели, в желтой открытой пижаме, навзничь лежала Изабель. Свесилась светлая рука, между пальцев тлела папироса. Сон, видно, схватил ее невзначай.

Керн подошел к постели. Стукнулся коленом о стул, на котором чуть зазвенела гитара. Синие волосы Изабель крутыми кругами лежали на подушке. Он поглядел на ее темные веки, на нежную тень между грудей. Тронул одеяло. Она мгновенно распахнула глаза. Тогда Керн, как-то сгорбившись, сказал:

– Мне нужна ваша любовь. Завтра я застрелюсь.

Ему никогда не снилось, что женщина – хоть и застигнутая врасплох – может так испугаться. Изабель сначала застыла, потом метнулась, оглянувшись на открытое окно, – и, мгновенно соскользнув с постели, пронеслась мимо Керна – с наклоненной головой, словно боялась удара сверху.

Стукнула дверь. Листы почтовой бумаги слетели со стола.

Керн остался стоять посреди просторной и светлой комнаты. На ночном столике лиловел и золотился виноград.

– Сумасшедшая! – сказал он вслух.

Трудно повел плечами. Содрогнулся от холода длинной дрожью, как конь. И внезапно замер.

За окном рос, летел, приближался взволнованными толчками – быстрый и радостный лай. Через миг провал окна, квадрат черной ночи, заполнился, закипел сплошным бурным мехом. Широким и шумным махом этот рыхлый мех скрыл ночное небо, от рамы до рамы. Миг, и он напряженно вздулся, косо ворвался, раскинулся. В свистящем размахе буйного меха мелькнул белый лик. Керн схватился за гриф гитары, со всех сил ударил белый лик, летевший на него. Его сшибло с ног ребро исполинского крыла, пушистая буря. Звериным запахом обдало его. Керн, рванувшись, встал.

Посредине комнаты лежал громадный ангел.

Он заполнял всю комнату, всю гостиницу, весь мир. Правое крыло согнулось, опираясь углом в зеркальный шкаф. Левое тяжело раскачивалось, цепляясь за ножки опрокинутого стула. Стул громыхал по полу взад и вперед. Бурая шерсть на крыльях дымилась, отливала инеем. Оглушенный ударом, ангел опирался на ладони, как сфинкс. На белых руках вздулись синие жилы, на плечах вдоль ключиц были теневые провалы. Глаза, продолговатые, словно близорукые, бледно-зеленые, как воздух перед рассветом, не мигая, смотрели на Керна из-под прямых, сросшихся бровей.

Керн, задыхаясь от острого запаха мокрого меха, стоял неподвижно, в бесстрастности предельного страха, разглядывая гигантские, дымящиеся крылья, белый лик.

За дверью, в коридоре раздался глухой шум. Тогда другое чувство овладело Керном: щемящий стыд.

Ему стало стыдно, до боли, до ужаса, что сейчас могут войти, застать его и это невероятное существо.

Ангел шумнодохнул, двинулся, руки его ослабли; он упал на грудь. Колыхнул крылом. Керн, скрипя зубами, стараясь не глядеть, нагнулся над ним, охватил холм сырой пахучей шерсти, холодные, липкие плечи. С тошным ужасом он заметил, что ноги у ангела бледные и бескостные, что стоять на них он не может. Ангел не противился. Керн, спеша, поволок его к шкафу, откинул зеркальную дверь, стал вталкивать, втискивать крылья в скрипучую глубину. Он хватался за ребра их, старался согнуть их, вдавить. Складки меха, раскручиваясь, ударяли его по груди. Наконец он крепко двинул дверью. В тот же миг изнутри вырвался раздирающий и нестерпимый вопль – вопль зверя, раздавленного колесом. Ах, он ему прищемил крыло. Уголок крыла торчал из щели. Керн, слегка раскрыв дверь, ладонью втолкнул курчавый клин. Повернул ключ в замке.

Стало очень тихо. Керн почувствовал, что горячие слезы стекают у него по лицу. Он выдохнул и кинулся в коридор. Изабель – ворох черного шелка, скорчившись, лежала у стены. Он поднял ее на руки, понес к себе в комнату, опустил ее на постель. Затем выхватил из чемодана тяжелый парабеллум, захлопнул обойму – и бегом, не дыша, ворвался обратно в № 35-й.

Две половинки разбитой тарелки белели на ковре. Виноград рассыпался.

Керн увидел себя в зеркальной двери шкафа: прядь волос, спустившуюся на бровь, крахмальный вырез в красных брызгах, продольный блеск на дуле пистолета.

– Его надо прикончить, – глухо воскликнул он и распахнул шкаф.

Только вихрь пахучего пуха. Бурые маслянистые хлопья закружились по комнате. Шкаф был пуст. Внизу белела шляпная картонка, продавленная.

Керн подошел к окну, выглянул. Мохнатые облачки наплывали на луну и дышали вокруг нее тусклыми радугами. Он закрыл рамы, поставил на место стул, отшаркнул под кровать бурые хлопья пуха. Затем осторожно вышел в коридор. Было по-прежнему тихо. Люди крепко спят в горных гостиницах.

А когда он вернулся к себе в номер, то увидел: Изабель, свесив босые ноги с постели, дрожит, зажав голову. Стало ему стыдно, как давеча, когда ангел смотрел на него своими зеленоватыми странными глазами.

– Скажите мне... где он? – быстро задышала Изабель.

Керн, отвернувшись, подошел к письменному столу, сел, открыл бювар, ответил:

– Не знаю.

Изабель втянула на постель босые ноги.

– Можно остаться у вас... пока? Я так боюсь...

Керн молча кивнул. Сдерживая дрожь в руке, принялся писать. Изабель заговорила снова – трепетно и глухо, но почему-то Керну показалось, что испуг ее – какой-то женский, житейский.

– Я встретила его вчера, когда в темноте летела на лыжах. Ночью он был у меня.

Керн, стараясь не слушать, писал размашистым почерком:

«Мой милый друг. Вот мое последнее письмо. Я никогда не мог забыть, как ты мне помог, когда на меня обрушилось несчастье. Он, вероятно, живет на вершине, где ловит горных орлов и питается их мясом...»

Спохватился, резко вычеркнул, взял другой лист. Изабель всхлипывала, спрятав лицо в подушку:

– Как же мне быть теперь?.. Он станет мстить мне... О, Господи...

«Мой милый друг, – быстро писал Керн, – она искала незабываемых прикосновений, и вот теперь у нее родится крылатый зверек...» А... Чорт!

Скомкал лист.

– Постарайтесь уснуть, – обратился он через плечо к Изабель. – А завтра уезжайте. В монастырь.

Плечи у нее часто ходили. Затем она утихла.

Керн писал. Перед ним улыбались глаза единственного человека на свете, с которым он мог свободно говорить и молчать. Он ему писал, что жизнь кончена, что он недавно стал чувствовать, как вместо будущего надвигается на него черная стена, – и что вот теперь случилось нечто такое, после чего человек не может и не должен жить. «Завтра в полдень я умру, – писал Керн, – завтра – потому что хочу умереть в полной власти своих сил, при трезвом дневном свете. А сейчас я слишком потрясен».

Докончив, он присел в кресло у окна. Изабель спала, чуть слышно дыша. Тягучая усталость обхватила ему плечи. Сон спустился мягким туманом.

III

Он проснулся от стука в дверь. Морозная лазурь лилась в окно.

– Войдите, – сказал он, потянувшись.

Лакей беззвучно поставил поднос с чашкой чая на стол, поклонился и вышел.

Керн про себя рассмеялся: «А я-то в помятом смокинге».

И мгновенно вспомнил, что было ночью. Вздрогнув, взглянул на постель. Изабель не было. Верно, ушла под утро к себе. А теперь, конечно, уехала... Бурые, рыхлые крылья на миг померещились ему. Он быстро встал – открыл дверь в коридор.

– Послушайте, – крикнул он удалявшейся спине лакея, – возьмите письмо.

Подошел к столу, пошарил. Лакей ждал в дверях. Керн похлопал себя по всем карманам, посмотрел под кресло.

– Можете идти. Я потом передам швейцару.

Пробор наклонился, мягко прикрылась дверь.

Керну стало досадно, что письмо потеряно. Именно это письмо. В нем он выразил так хорошо, так плавно и просто все, что нужно было. А теперь слова он вспомнить не мог. Всплывали нелепые фразы. Нет, письмо было чудесное.

Он принялся писать заново – и выходило холодно, витиевато. Запечатал. Четко надписал адрес.

Ему стало странно легко на душе. В полдень он застрелится, а ведь человек, решившийся на самоубийство, – Бог.

Сахарный снег сиял в окно. Его потянуло туда – в последний раз.

Тени инистых деревьев лежали на снегу, как синие перья. Где-то густо и сладко звенели бубенцы. Народу высыпало много: барышни в шерстяных шапочках,двигающиеся на лыжах пугливо и неловко, молодые люди, которые звучно перекликались, выдыхая облака хохота, и пожилые люди, багровые от напряжения, – и какой-то сухой синеглазый старичок, волочивший за собой бархатные саночки. Керн мимолетно подумал: не хватить ли старичка по лицу, наотмашь, так, просто... Теперь ведь все позволено... Рассмеялся... Давно он не чувствовал себя так хорошо.

Все тянулись к тому месту, где началось лыжное состязание. Это был высокий крутой скат, переходивший посередине в снеговую площадку, которая отчетливо обрывалась, образуя прямоугольный уступ. Лыжник, скользя по крутизне, пролетел с уступа в лазурный воздух; летел, раскинув руки, и, стоя на опустившихся в продолжение ската, скользил дальше. Швед только что побил свой же последний рекорд и далеко внизу, в вихре серебристой пыли круто завернул, выставив согнутую ногу.

Прокатили еще двое в черных свэтерах, прыгнули, упруго стукнули о снег.

– Сейчас пролетит Изабель, – сказал тихий голос у плеча Керна. Керн быстро подумал: «Неужели она еще здесь... Как она может...» – посмотрел на говорившего. Это Монфиори. В котелке, надвинутом на оттопыренные уши, в черном пальтишке с полосками блеклого бархата на воротнике, он смешно отличался от шерстяной легкой толпы. «Не рассказать ли ему?» – подумал Керн.

С отвращением оттолкнул бурые пахучие крылья: «Не надо думать об этом».

Изабель поднялась на холм. Обернулась, говоря что-то спутнику своему весело, весело, как всегда. Жутко стало Керну от этой веселости. Показалось ему, что над снегами, над стеклянной гостиницей, над игрушечными людьми – мелькнуло что-то – содрогание, отблеск...

– Как вы сегодня поживаете? – спросил Монфиори, потирая мертвые свои ручки.

Одновременно кругом зазвенели голоса:

– Изабель! Летучая Изабель!

Керн вскинул голову. Она стремительно неслась по крутому скату. Мгновение – и он увидел: яркое лицо, блеск на ресницах. С легким свистом она скользнула по трамплину, взлетела, повисла в воздухе – распятая. А затем...

Никто, конечно, не мог ожидать этого. Изабель на полном лету судорожно скорчилась и камнем упала, покатила, колеся лыжами в снежных всплесках.

Сразу скрыли ее из виду спины шарахнувшихся к ней людей. Керн, подняв плечи, медленно подошел. Ясно, как будто крупным почерком написанное, встало перед ним: месть, удар крыла.

Швед и длинный господин в роговых очках наклонялись над Изабель. Господин в очках профессиональными движениями ощупывал неподвижное тело. Бормотал:

– Не понимаю... Грудная клетка проломана...

Приподнял ей голову. Мелькнуло мертвое, словно оголенное лицо.

Керн повернулся, хрустнув каблуком, и крепко зашагал по направлению к гостинице. Рядом с ним семенил Монфиори, забегал вперед, заглядывал ему в глаза.

– Я сейчас иду к себе наверх, – сказал Керн, стараясь проглотить, сдержать рыдающий смех. – Наверх... Если вы хотите пойти со мной...

Смех подступил к горлу, заклокотал. Керн, как слепой, поднимался по лестнице. Монфиори поддерживал его робко и торопливо.

Месть

I

Остенде, каменная пристань, серый шtrand, далекий ряд гостиниц медленно поворачивались, уплывали в бирюзовую муть осеннего дня.

Профессор закутал ноги в клетчатый плед и со скрипом откинулся в парусиновый уют складного кресла. На чистой охряной палубе было людно, но тихо. Сдержанно ухали котлы.

Молоденькая англичанка в шерстяных чулках бровью указала на профессора.

– Похож на Шелдона, не правда ли? – обратилась она к брату, стоящему подле.

Шелдон был комический актер, – лысый великан с круглым рыхлым лицом.

– Он очень доволен морем... – тихо добавила англичанка. После чего она, к сожаленью, выпадает из моего рассказа.

Брат ее, мешковатый рыжий студент, возвращающийся в свой университет – кончались летние каникулы, – вынул изо рта трубку и сказал:

– Это наш биолог. Великолепный старик. Нужно мне поздороваться с ним.

Он подошел к профессору. Тот поднял тяжелые веки. Узнал одного из худших и прилежнейших своих учеников.

– Переход будет превосходен, – сказал студент, легко пожав большую холодную руку, поданную ему.

– Я надеюсь, – отвечал профессор, пальцами поглаживая серую свою щеку. И повторил внушительно: – Да, я надеюсь.

Студент скользнул глазами по двум чемоданам, стоящим рядом со складным креслом. Один был старый, степенный: как пятна птичьего помета на памятниках, белели на нем следы давнишних наклеек. Другой – совсем новый, оранжевый, с горящими замками, почему-то привлек внимание студента.

– Позвольте, подниму ваш чемодан, – а то упадет, – предложил он, чтобы как-нибудь поддержать разговор.

Профессор усмехнулся. Не то седобровый комик, не то стареющий боксер...

– Чемодан, говорите? А знаете ли, что я в нем везу? – спросил он, словно с некоторым раздражением. – Не угадываете? Прекрасный предмет!.. Особый род вешалки...

– Немецкое изобретение, сэр? – подсказал студент, вспомнив, что биолог только что побывал в Берлине на ученом съезде.

Профессор засмеялся сочным скрипучим смехом. Огнем брызнул золотой зуб.

– Божественное изобретение, друг мой, божественное. Необходимое всякому человеку. Впрочем, вы сами возите с собой такой же предмет. А? Или, может быть, вы – полип?

Студент осклабился. Знал, что профессор склонен темно шутить. О старике много толковали в университете. Говорили, что мучит он свою жену – совсем молодую женщину. Студент раз видел ее: худенькая такая, с поразительными глазами...

– Как поживает, сэр, супруга ваша? – спросил рыжий студент.

Профессор отвечал:

– Открою вам правду, мой дорогой друг. Я долго боролся с собой, но теперь принужден вам сказать... Мой дорогой друг, я люблю путешествовать молча. Верю, вы простите меня.

И тут, разделяя участь своей сестры, студент, смущенно похвистывая, навсегда уходит с этих страниц.

А биолог надвинул черную фетровую шляпу на щетинистые брови, так как ослепительно была в глаза морская зыбь, и погрузился в мнимый сон. Серое бритое лицо его, с крупным

носом и тяжелым подбородком, было облитое солнцем и казалось только что вылепленным из мокрой глины. Когда на солнце набегало легкое осеннее облако, лицо профессора становилось вдруг каменным – темнело и высыхало. Все это, конечно, было лишь сменой теней и света, а не отражением мыслей его. Вряд ли на профессора приятно было бы смотреть, если бы действительно мысли его отражались.

Дело в том, что на днях он получил из Лондона от наемного сыщика донесение о том, что жена ему изменяет. Перехвачено было письмо, написанное мелким, знакомым почерком и начинающееся так: «Мой любимый, мой Джэк, я еще полна твоим последним поцелуем...»

А профессора звали отнюдь не Джэком. В этом-то и была сущность всего дела. Сообразив это, он почувствовал не удивление, не боль и даже не мужественную досаду, а – ненависть, острую и холодную, как ланцет. Он понял совершенно отчетливо, что жену свою он убьет. Колебаний быть не могло. Оставалось только придумать самый мучительный, самый изощренный вид убийства. Откинувшись в складном кресле, он в сотый раз перебирал все пытки, описанные путешественниками и средневековыми учеными. Ни одна ему не казалась достаточно болезненной. Когда вдали, на грани зеленой зыби, забелели скалы Довера, он еще ничего не решил.

Пароход смолк и, покачиваясь, пристал. Профессор последовал по сходням за носильщиком. Таможенный чиновник, скороговоркой перечтя вещи, не подлежащие ввозу, попросил открыть чемодан – новый, оранжевый. Профессор повернул легкий ключик в замке, отпахнул кожаную крышку. Сзади него какая-то русская дама громко вскрикнула: батюшки! – и затем нервно рассмеялась. Двое бельгийцев, стоящих по бокам профессора, взглянули на него как-то снизу; один пожал плечами, другой тихо свистнул. Англичане бесстрастно отвернулись. Чиновник, взятый врасплох, выпучил глаза на содержимое чемодана. Всем было очень жутко и неловко.

Биолог холодно назвал себя, упомянул университетский музей. Лица прояснились. Опечалились только несколько дам, поняв, что преступления не произошло.

– Но почему вы возите *это* в чемодане? – с почтительным укором спросил чиновник, осторожно опустив крышку и чиркнув мелом по яркой коже.

– Я торопился, – сказал профессор, устало жмурясь, – некогда было заколачивать в ящик. Притом вещь ценная, в багаж я не отдал бы.

Профессор сутулой, но упругой поступью прошел на дебаркадер, мимо полисмена, похожего на громадную игрушку. Но внезапно он остановился, как бы вспомнив что-то, и со светлой, доброй улыбкой пробормотал: «А! Найдено... Остроумнейший способ...» Затем облегченно вздохнул, купил два банана, пачку папирос, хрустящие простыни газет и через несколько минут летел в уютном отделении континентального экспресса, вдоль сияющего моря, вдоль белых откосов, вдоль изумрудных пастбищ Кента.

II

Действительно чудесные глаза... Зрачок – что блестящая капля чернил на сизом атласе. Волосы – подстриженные, бледно-золотые: шапка пышного пуха. Сама – маленькая, прямая, с плоской грудью.

Она ждала мужа уже накануне, а сегодня наверное знала, что он приедет. В сером открытом платье, в бархатных туфельках, сидела она на павлиньей тахте, в гостиной, и думала о том, что напрасно муж не верит в духов и откровенно презирает молодого шотландца-спирита с белыми нежными ресницами, который иногда у нее бывает. Ведь с нею и впрямь случаются странные вещи. Недавно во сне ей явился покойник-юноша, с которым до замужества она блуждала в сумерках, когда так призрачно белеет цветущая ежевика. Утром она, еще как бы в дремоте, написала ему карандашом письмо – письмо своему сновиденью. В этом письме

она солгала бедному Джэку. Ведь она его почти забыла, любит испуганной, но верной любовью своего страшного, мучительного мужа, а меж тем хотелось теплотою земных слов согреть, ободрить милого, призрачного гостя. Письмо таинственно исчезло из бювара, и в ту же ночь ей приснился длинный стол, из-под которого вдруг вылез Джэк и благодарно закивал ей... Теперь ей почему-то было неприятно вспоминать этот сон... Словно она мужу изменила с призраком...

В гостиной было тепло и нарядно. На широком низком подоконнике лежала шелковая подушка, ярко-желтая в фиолетовую полоску...

Профессор приехал в ту самую минуту, когда она решила, что пароход его пошел ко дну. Выглянув из окна, она увидела черный верх таксомотора, протянутую ладонь шофера и тяжелые плечи мужа, который, нагнув голову, платил. Пролетела по комнатам, просеменила вниз по лестнице, качая худенькими оголенными руками.

Он поднимался ей навстречу, сутулый, в широком пальто. За ним слуга нес чемоданы.

Она прижалась к его шерстяному кашне, легко подняв каблуком вверх одну ногу, тонкую, в сером чулке. Он поцеловал ее в теплый висок. С мягкой усмешкой отстранил ее руки.

– Я запылен... погоди... – пробормотал он, держа ее за кисти.

Она, жмурясь, тряхнула головой – бледным пожаром волос.

Профессор, нагнувшись, поцеловал ее в губы, усмехнулся опять.

За ужином, выпучив белую кольчугу крахмальной рубашки и крепко двигая лоснистыми скулами, он рассказывал о своем недолгом путешествии. Был сдержанно весел. Крутые шелковые отвороты его жакета, бульдожья челюсть, лысая громадная голова с железными жилками на висках – все это возбуждало в жене его чудесную жалость: так жаль ей было всегда, что он, изучающий все пылинки жизни, не хочет войти к ней в мир, где текут стихи Деламара и проносятся нежнейшие астралы.

– Что, постукивали без меня твои призраки? – спросил он, угадав ее мысли.

Ей захотелось рассказать ему о сновидении, о письме, – но было как-то совестно...

– А знаешь, – продолжал он, осыпая сахаром розовый ремень, – ты и твои друзья играют с огнем. Действительно странные бывают вещи. Мне один венский доктор на днях рассказал о невероятных перевоплощениях. Женщина одна, – гадалка такая, кликуша, – умерла – от разрыва сердца, что ли? – и когда доктор раздел ее – это было в мадьярской лачуге, при свечах, – то тело этой женщины поразило его: оно было все подернуто красноватым блеском, мягкое и склизкое на ощупь. И приглядевшись, он понял, что это тело, полное и тугое, сплошь состоит как бы из тонких круговых поясков кожи, – словно оно было все перевязано – ровно, крепко – незримыми нитками, – или вот есть такая реклама шин французских – человек, состоящий из шин... Только у нее шины были совсем тонкие и бледно-красные. И пока доктор смотрел, тело мертвой стало медленно распутываться, как огромный клубок... ее тело было тонким, бесконечно длинным червем, который разматывался и полз – уходил под дверную щель, – и на постели остался голый, белый, еще влажный костяк... А ведь у этой женщины был муж, – он когда-то целовал ее, – целовал червя...

Профессор налил себе рюмку портвейна цвета красного дерева и стал пить густыми глотками, не отрывая сощуренных глаз от лица жены. Она зябко повела худыми, бледными плечами...

– Ты сам не знаешь, какую страшную вещь ты мне рассказал, – проговорила она взволнованно. – Значит, дух женщины ушел в червя. Страшно все это...

– Я иногда думаю, – сказал профессор, тяжело выстрелив манжетой и рассматривая свои тупые, серые пальцы, – что в конце-то концов моя наука – праздный обман, что физические законы выдуманы нами, что все, решительно все, может случиться... Те, кто предаются таким мыслям, сходят с ума...

Он заглушил зевок, постукивая сжатым кулаком по губам.

– Что с тобой случилось, друг мой? – тихо воскликнула его жена. – Ты никогда так не говорил раньше... Мне казалось, ты все знаешь... все разметил...

На мгновение судорожно раздулись ноздри у профессора, вспыхнул золотой клык. Но тотчас же его лицо обмякло снова.

Он потянулся и встал из-за стола.

– Болтаю я... пустое... – сказал он ласково и спокойно. – Я устал... Спать пойду... Не зажигай свет, когда войдешь. Прямо ложись в нашу постель... В нашу, – повторил он значительно и нежно, как давно не говорил.

Это слово мягко звенело у нее в душе, когда она осталась одна в гостиной.

Пять лет была замужем она, и несмотря на причудливый нрав мужа, на частые вихри его беспричинной ревности, на молчанье, и угрюмость, и непонятливость – она чувствовала себя счастливой, так как любила и жалела его. Она, тонкая, белая, – он, громадный, лысый, с ключьями серой шерсти посередине груди, составляли невозможную, чудовищную чету, – и все же ей приятны были его редкие сильные ласки.

Хризантема, стоящая в вазе на камине, уронила с сухим шорохом несколько загнутых лепестков.

Она вздрогнула, неприятно екнуло сердце, ей вспомнилось, что воздух всегда полон призраков, что даже ученый муж ее отметил их страшное проявление. Вспомнилось ей, как Джэки вынырнул из-под стола и с жуткой нежностью ей закивал. Показалось, что в комнате все предметы выжидательно на нее смотрят. Ветер страха обдал ее. Она быстро вышла из гостиной, удерживая нелепый крик. Передохнула: какая я, право, глупая... В туалетной комнате долго разглядывала в зеркале свои блестящие зрачки. Ее маленькое лицо в шапке пушистого золота показалось ей чужим...

Легкая, как девочка, – в одной кружевной сорочке, – она вошла, стараясь не задеть мебель, в темную спальню. Протянула руки, нащупала изголовье постели, легла с краю. Знала, что не одна, что муж лежит рядом. Несколько мгновений неподвижно глядела вверх, чувствуя, как дико и глухо бухает сердце в груди.

Когда глаза ее привыкли к темноте, пересеченной полосками луны, льющейся сквозь кисейную штору, она повернула голову к мужу. Он лежал спиной к ней, закутавшись в одеяло. Она только видела его лысое темя, которое казалось необычайно гладким и белым в луже лунного света.

«Не спит, – ласково подумала она, – если бы спал, то похрапывал...»

Улыбнулась – и быстро всем телом скользнула к мужу, раскинула под одеялом руки для знакомого объятия. Пальцы ее вонзились в гладкие ребра. Коленом ударилась она в гладкую кость. Череп, вращая черными глазницами, покатился с подушки к ней на плечо.

Распахнулся электрический свет. Профессор в своем грубом смокинге, сияя вздутой крахмальной грудью, глазами, громадным лбом, вышел из-за ширмы и подошел к постели.

Одеяло, простыни, спутавшись, сползли на ковер. Жена его лежала мертвая, обнимая белый, кое-как свинченный скелет горбуна, что профессор приобрел за границей для университетского музея.

Благость

Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гуашевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, – одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу – что-то крошилось, потрескивало под ногой – и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие, как клочья рваных знамен, вдоль покатога стекла. Впустив утро – прищуренное, жалкое, – я рассмеялся, сам не знаю чему, – быть может, тому, что вот, я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего властелина, – и думал о тебе.

Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движенье; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил – не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.

Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окуроч, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплomu черному шелку. После этого я две недели не видел тебя.

Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина – очертания их менялись благодаря неверным внутренним переливам стекла, – и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновение легкую изумленную осеннюю синеву.

Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была быющей, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.

Когда после обеда я вышел на улицу – встретить тебя, – голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.

Я шел и думал о том, что, верно, на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.

Вот и грузные ворота. Сквозь проймы их протискивались толстобокые автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Было людно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах – мутная тошнота, что бывает, когда натошак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.

Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.

А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток – открытки, планы, веера цветных снимков, – а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом, – и тоже ждала.

Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится – покупатель или ты. У старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то лоток – очень хорошие, любопытные вещицы. Но я – ничего...»

Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впиваясь яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушая ему: купи, купи... – но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.

Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза, – и нарочно не смотрел, дорожил самообманом.

Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика – желтый плюш, сборки у поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше, чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка. Рядом, на табурете, осталась книга – путеводитель по Берлину, – и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.

Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.

А старушка уселась снова, и, так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.

Прошло уже с час, – быть может, больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала прийти. Мне вспомнился телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.

И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движением подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину его зеленое плечо.

Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком – если судить по коричневой бахrome пенки, приставшей к краю.

И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца, – и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках, сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесьть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась, – и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.

Допила. На мгновение застыла. Потом встала и направилась к окну – отдать пустую кружку.

Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась она обратно к лотку, выдернула две цветных открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.

Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благодать всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, – и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не черед хитрых случайностей, а мерцающая радость, благодатное волнение, подарок, не оцененный нами.

И в этот миг наконец ты пришла, вернее не ты, а чета немцев, – он в непромокаемом плаще, ноги в длинных чулках – зеленые бутылки, – она – худая, высокая, в пантеровом пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка, покрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена пожала плечом, оттянула его за рукав, – и тогда-то заметил я, что она на тебя похожа, – сходство было не в чертах, не в одежде, – а вот в этой брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они пошли дальше, ничего не купивши, – а старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки, углубилась опять в свою красную книгу. Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь по вечеряющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения, – вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади; ловил я и собирал все это, и крупные, косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекопку мысли, начинающей творить.

Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лягнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов, – и я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.

В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких, частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стучались наверху об крышу срываемые ветром каштаны: ток – и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного счастья повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка, – и снова одиноко падал круглый каштан, – погода падал и второй, стучаясь и катясь по крыше: ток... ток...

Порт

В низкой парикмахерской пахло прелыми розами. Жарко и тяжело жужжали мухи. Солнце лужами топленого меда горело на полу, щипало блеском флаконы, сквозило сквозь долгую занавеску в дверях: занавеска – глиняные бусы да трубочки из бамбука, попеременно нанизанные на частые шнуры, – рассыпчато позвякивала и переливалась, когда кто-нибудь, входя, плечом ее откидывал. Перед собой, в тускловатом стекле, Никитин видел свое загорелое лицо, лепные пряди ярких волос, сверканье ножниц, стрекотавших над ухом, – и глаза его были внимательны и строги, как это всегда бывает, когда смотришься в зеркало. Накануне он приехал из Константинополя, где жить стало невтерпеж, в этот древний южнофранцузский порт; утром заходил в русское консульство, в бюро труда, бродил по городу, узкими улочками сползающему к морю, устал, разомлел и теперь зашел постричься, освежить голову. Пол вокруг стула был уже усыпан яркими мышками – обрезками волос. Парикмахер набрал в ладонь жидкого мыла. Вкусный холодок прошел по макушке, пальцы крепко втирали густую пену, – а потом грянул ледяной душ, екнуло сердце, мохнатое полотенце заработало по лицу, по мокрым волосам.

Плечом пробив волнистый дождь занавески, Никитин вышел в покатый переулок. Правая сторона была в тени, по левой в жарком сиянии дрожал вдоль панели узкий ручей, девочка, черноволосая, беззубая, в смуглых веснушках, ловила звонким ведром сверкавшую струю; и ручей, и солнце, и фиолетовая тень, – все текло, скользило вниз, к морю: еще шаг, и там, в глубине, между стен, выростал его плотный, сапфировый блеск. По теневой стороне шли редкие прохожие. Попался навстречу негр в колониальной форме, – лицо как мокрая галоша. На тротуаре стоял соломенный стул, с сиденья мягко спрыгнула кошка. Медный провансальский голос затараторил где-то в окне. Стукнул зеленый ставень. На лотке, среди лиловых моллюсков, пахнувших морской травой, шероховатым золотом отливали лимоны.

Сойдя к морю, Никитин с волнением поглядел на его густую синеву, переходившую вдали в ослепительную серебристость, – на световую рябь, нежно игравшую по белому борту яхты, – и потом, пошатываясь от зноя, пошел разыскивать русский ресторанчик, адрес которого он заметил на стене в консульстве.

В ресторанчике, как и в парикмахерской, было жарко, грязновато. В глубине, на широкой стойке, сквозили закуски и фрукты в волнах сизой кисеи, прикрывавшей их. Никитин сел, расправил плечи: рубашка прилипла к спине. За соседним столиком сидели двое русских, видимо матросы с французского судна, а поодаль одинокий старичок в золотых очках, чмокая и посасывая, лакал с ложки борщ. Хозяйка, вытирая полотенцем пухлые руки, материнским взглядом окинула вошедшего. Два лохматых щенка, лопоча лапками, валялись на полу; Никитин свистнул; старая облезлая сука с зеленой слизью в углах ласковых глаз положила морду к нему на колени.

Один из моряков обратился к нему, сдержанно и неторопливо:

– Отгоните. Блох напустит.

Никитин потрепал собаку по голове, поднял сияющие глаза.

– Этого, знаете, не боюсь... Константинополь... Бараки... Что вы думаете...

– Недавно прибыли? – спросил моряк. Голос – ровный. Сетка вместо рубашки. Весь прохладный, ловкий. Темные волосы отчетливо сзади подстрижены. Чистый лоб. Общий вид порядочности и спокойствия.

– Вчера вечером, – отвечал Никитин.

От борща, от черного огненного вина он еще больше вспотел. Хотелось смирно сидеть, тихо беседовать. В пройму двери вливалось яркое солнце, трепет и блеск переулочного ручейка, – и поблескивали очки у русского старичка, сидевшего в углу, под газовым счетчиком.

– Работы ищите? – спросил второй матрос, пожилой, голубоглазый, с бледными, моржовыми усами, но тоже весь отчетливый, чистый, отшлифованный солнцем и соленым ветром.

Никитин улыбнулся:

– Еще бы... Вот был сегодня в бюро труда... Предлагают сажать телеграфные столбы, вить канаты, да вот не знаю...

– А вы к нам, – проговорил черноволосый, – кочегаром, что ли. Это, скажу вам, дело... А, Ляля... Наше вам с кисточкой!..

Вошла барышня, в белой шляпе, с некрасивым нежным лицом, прошла между столиков, улыбнулась сперва собачкам, потом морякам. Никитин спросил что-то и забыл свой вопрос, глядя на девушку, на движение ее низких бедер, по которым всегда можно узнать русскую барышню. Хозяйка нежно взглянула на дочь, устала, мол, просидела все утро в конторе, а не то в магазине служит. Было в ней что-то трогательное, уездное, хотелось думать о фиалочном мыле, о дачном полустанке в березовом лесу. Конечно, за дверью никакой Франции нет. Кисейные движения. Солнечная чепуха.

– Нет, это вовсе не сложно, – говорил моряк, – бывает так: железная бадья, угольная яма. Подгребаете, значит. Сперва легко, – пока уголь скатом: сам в бадью сыплется; потом тяжелее. Наполните бадью, ставите ее на тележку. Подкатываете к старшему кочегару. Тот ударом лопаты – раз! – отпахивает печь, – два! – той же лопатой бросает, знаете, широко веером, чтобы ровно лег. Работа тонкая. Извольте следить за стрелкой, а если понизится давление...

В окне с улицы появились голова и плечи человека в панаме и белом пиджаке.

– Как изволите поживать, Ляля?

Облокотился о подоконник.

– Да-да, конечно, жарко, так и пышет. Работать нужно в одних штанах да в сетке. Сетка потом черная. А вот я говорил, – о давлении-то. В печи, значит, образуется накипь, каменная кора, разбиваешь эдакой длинной кочергой. Трудно. Зато как потом выскочишь на палубу – солнце хоть и тропическое, а кажется свежим, – да встанешь под душ, да шмыг к себе в кубрик, в гамак, – благодать, доложу я вам...

Тем временем у окна:

– А он, понимаете, утверждает, что видел меня в автомобиле!

Голос у Ляли был высокий, взволнованный. Ее собеседник, белый господин, стоял, облокотясь с внешней стороны подоконника, и в квадрате окна были видны его круглые плечи, бритое мягкое лицо, наполовину освещенное солнцем: русский, которому повезло...

– Вы еще, говорит, были в сиреновом платье, а у меня и нет такого, – взвизгнула Ляля, – а он настаивает: «же ву засюр»⁹.

– Нельзя ли по-русски, – обернулся моряк, говоривший с Никитиным.

Человек в окне сказал:

– А я, Ляля, достал эти ноты. Помните?

Так и пахнуло – почти нарочито, словно кто-то забавлялся тем, что выдумывает эту барышню, этот разговор, этот русский ресторанчик в чужеземном порту, – пахнуло нежностью русских захолустных будней, и сразу, по чудному и тайному сочетанию мысли, мир показался еще шире, захотелось плыть по морям, входить в баснословные заливы, везде подслушивать чужие души.

– Вы спрашиваете, какой рейс? Индокитай, – так просто сказал моряк.

Никитин задумчиво застучал папиросой о портсигар; на деревянной крышке выжжен золотой орел.

– Хорошо, должно быть.

– А что? Конечно, хорошо.

⁹ Я вас уверяю (*искаж. фр.*).

– Ну, расскажите что-нибудь. Ну, про Шанхай, про Коломбо.

– Шанхай? Видел. Теплый дождик, красный песочек. Сыро, как в оранжерее. А на Цейлон, например, не попал; вахта, знаете... Моя была очередь...

Человек в белом пиджаке, согнув плечи, через окно говорил Ляле что-то, тихо и значительно. Она слушала, набок склонив голову, одной рукой потрагивая завернувшееся ухо собаки. Собака, выпустив огненно-розовый язык, радостно и быстро дыша, глядела в солнечный просвет двери, верно раздумывая, стоит ли еще полежать на горячем пороге. И казалось, что собака думает по-русски.

Никитин спросил:

– Куда же мне обратиться?

Моряк подмигнул приятелю: уломал, дескать. Затем сказал:

– Очень просто. Завтра пораньше пойдете в старый порт, у второго мола найдете наш «Жан-Бар». Вот и поговорите с помощником капитана. Думаю, что наймет.

Никитин внимательно и ясно посмотрел на чистый, умный лоб моряка.

– Чем вы были раньше, в России?

Тот пожал плечами, усмехнулся.

– Чем? Дураком, – басом ответил за него вислоусый.

Погодя оба встали. Молодой вынул бумажник, заткнутый в штаны спереди под пряжку пояса, на манер французских матросов. Чему-то высоко засмеялась Ляля, подошедшая к ним, подала руку: ладонь, верно, чуть сырая. Копошились щенки на полу. Человек, стоявший за окном, отвернулся, рассеянно и нежно посвистывая. И Никитин, рассчитавшись, неспешно вышел на солнце.

Было часов пять пополудни. На синеву моря в пролетах переулков больно было смотреть. Пылали круговые щиты уличных уборных.

Он вернулся в свою убогую гостиницу – и, медленно заломив руки, в блаженном солнечном опьянении свалился навзничь на постель. Ему приснилось, что он снова офицер, идет по крымскому кособогу, поросшему молочаем и дубовым кустарником, – и на ходу стэком скашивает пушистые головки чертополоха. Он проснулся оттого, что во сне засмеялся; проснулся, а в окне уже синели сумерки.

Подумал, высунувшись в прохладную бездну: бродят женщины. Среди них есть русские. Какая большая звезда.

Пригладил волосы, потер концом одеяла пыльные шишковатые носки сапог, заглянул в кошелек – пять франков всего – и опять вышел блуждать, наслаждаться своей одинокой праздностью.

Теперь на улице было люднее, чем днем. Вдоль переулков, спускавшихся к морю, сидели, прохлаждались. Девушка в платке с блестками... Вскинула ресницы... Пузатый лавочник в расстегнутом жилете курил, сидя верхом на соломенном стуле, локтями опираясь на спинку, – и спереди на животе торчал хлястик рубашки. Дети, попрыгивая на корточках, пускали при свете фонаря бумажные лодочки по черной струе, бегущей вдоль узкой панели. Пахло рыбой и вином. Из матросских кабаков, горевших желтым блеском, неслись трудные звуки шарманки, стук ладоней об стол, металлический возглас. А в верхней части города, по главному бульвару, под облаками акаций, шаркали и посмеивались вечерние толпы, мелькали тонкие лодыжки женщин, белые башмаки морских офицеров. Тут и там, словно цветистый огонь застывшего фейерверка, пылало в лиловом сумраке кафе: круглые столики прямо на тротуаре, тени черных платанов на освещенном изнутри полосатом навесе. Никитин остановился, представив себе мысленно кружку пива, ледяную, тяжелую. В глубине за столиками, как руки, заламывались звуки скрипки и густым звоном переливалась арфа. Чем банальней музыка, тем ближе она к сердцу.

У крайнего столика сидела женщина, вся в зеленом, усталая, гуляющая, покачивала острым носком башмака.

«Выпью, – решил Никитин, – нет, не выпью... А впрочем...»

У женщины были глаза как у куклы. Что-то было очень знакомое в этих глазах, в длинной линии ноги. Подхватив сумку, она встала, словно торопилась куда-то. На ней была длинная кофточка изумрудной шелковой вязки, низко обхватывавшая бедра. Прошла, щурясь от музыки.

«Вот было бы странно, – подумал Никитин. В памяти у него пронеслось что-то, как сорвавшаяся звезда, – и, забыв о пиве, он завернул следом за ней в черный, блестящий переулочек. Фонарь вытянул ее тень. Тень мелькнула по стене, перегнулась. Она шла тихо, и Никитин сдерживал шаг, почему-то боясь ее догнать. – Но ведь это, несомненно, так... Боже мой, как хорошо...»

Женщина остановилась на краю панели. Над черной дверью горела малиновая лампочка. Никитин прошел вперед, вернулся, обошел женщину кругом, стал. Она с воркующим смешком кинула ласковое французское словцо.

При смутном свете Никитин видел ее миловидное, усталое лицо, влажный блеск мелких зубов.

– Послушайте, – сказал он по-русски просто и тихо. – Ведь мы давно знакомы, давайте уж говорить на родном языке.

Она подняла брови:

– Инглиш? Ю спик инглиш?¹⁰

Никитин пристально глянул, повторил несколько беспомощно:

– Оставьте. Ведь я знаю.

– *T'es polonais, alors?*¹¹ – спросила женщина, по-южному раскатывая последний рокошущий слог.

Никитин сдался, усмехнулся, сунул ей в руку пятифранковую бумажку и, быстро повернувшись, стал переходить покатуя площадь. Через мгновение он услышал за собой поспешный шаг, дыханье, шорох платья. Обернулся. Никого. Пустая, темная площадь. Ночной ветер гнал по плитам газетный лист.

Он вздохнул, усмехнулся опять, глубоко засунул кулаки в карманы штанов – и, глядя на звезды, которые вспыхивали и бледнели, словно их раздували гигантские меха, стал спускаться к морю.

Там, над лунным плавным колыханьем волн, на каменной грани старинной пристани, он сел, свесил ноги и так сидел долго, откинув лицо и опираясь на ладони назад отогнутых рук.

Прокатилась падающая звезда с неожиданностью сердечного перебоя. Сильный и чистый порыв ветра прошел по его волосам, побледневшим в ночном сиянии.

¹⁰ Английский? Вы говорите по-английски? (*искаж. англ.*)

¹¹ Так, значит, ты поляк? (*фр.*)

Случайность

Он служил лакеем в столовой германского экспресса. Звали его так: Алексей Львович Лужин.

Ушел он из России пять лет тому назад и с тех пор, перебираясь из города в город, перепробовал немало работ и ремесел: был батраком в Турции, комиссионером в Вене, маляром, приказчиком и еще кем-то. Теперь по обеим сторонам длинного вагона лились, лились поля, холмы, поросшие вереском, сосновые перелески, – и бульон, в толстых чашках на подносе, который он гибко пронесил по узкому проходу между боковых столиков, дымился и поплескивал. Подавал он с мастерской торопливостью, ловко подхватывал и раскидывал по тарелкам ломти говядины, – и при этом быстро наклонялась его стриженная голова, напряженный лоб, черные густые брови, подобные перевернутым усам.

В пять часов дня вагон приходил в Берлин, в семь катил обратно по направлению к французской границе. Лужин жил как на железных качелях: думать и вспоминать успевал только ночью, в узком закутке, где пахло рыбой и нечистыми носками. Вспоминал он чаще всего кабинет в петербургском доме – кожаные пуговицы на сгибах мягкой мебели – и жену свою, Лену, о которой пять лет ничего не знал. Сам он чувствовал, как с каждым днем все скудеет жизнь. От кокаина, от слишком частых понюшек опустошалась душа, – и в ноздрях, на внутреннем хряще, появлялись тонкие язвы.

Когда он улыбался, крупные зубы его вспыхивали особенно чистым блеском, и за эту русскую белую улыбку по-своему полюбили его двое других лакеев – Гуго, коренастый, белокурый берлинец, записывавший счета, и быстрый, востроносый, похожий на рыжую лису Макс, разносивший пиво и кофе по отделениям. Но в последнее время Лужин улыбался реже.

В те свободные часы, когда яркая хрустальная волна яда била его, сиянием пронизывала мысли, всякую мелочь обращала в легкое чудо, он кропотливо отмечал на листке все те ходы, что предпримет он, чтобы разыскать жену. Пока он чиркал, пока еще были блаженно вытянуты все те чувства, ему казалась необычайно важной и правильной эта запись. Но утром, когда ломило голову и белье прилипало к телу, он с отвращением и скукой глядел на прыгающие, нечеткие строки. А с недавних пор другая мысль стала занимать его. С той же тщательностью принимался он вырабатывать план своей смерти – и кривой отмечал паденья и взмахи чувства страха и, наконец, чтобы облегчить дело, назначил себе определенный срок: ночь с первого на второе августа. Занимала его не столько сама смерть, как все подробности, ей предшествующие, и в этих подробностях он так запутывался, что о самой смерти забывал. Но, как только он начинал трезветь, тускнела прихотливая обстановка той или другой выдуманной гибели, – и было ясно только одно: жизнь оскудела вконец и жить дальше незачем.

А первого августа, в половине седьмого вечера, в просторном полутемном буфете берлинского вокзала сидела за голым столом старуха Ухтомская Марья Павловна, тучная, вся в черном, с желтоватым, как у евнуха, лицом. Народу в зале было немного. Мутно поблескивали медные гири висячих ламп под высоким потолком. Изредка гулко громыхал отодвинутый стул.

Ухтомская строго взглянула на золотую стрелку стенных часов. Стрелка толчком двинулась. Через минуту вздрогнула опять. Старуха встала, подхватила свой черный глянцевитый саквояж и шумящими, плоскими шагами, опираясь на шишковатую мужскую трость, пошла к выходу.

У решетки ее ждал носильщик. Подавали поезд. Мрачные, железного цвета вагоны тяжело пятились, проходили один за другим. На фанере международного, под средними окнами, белела вывеска: Берлин – Париж; международный, да еще ресторан, где в окне мельк-

нули выставленные локти и голова рыжего лакея, – они напомнили сдержанную роскошь довоенного норд-экспресса.

Поезд стал; лязгнули буфера; длинный свистящий вздох прошел по колесам. Носильщик устроил Ухтомскую в отделение второго класса – для курящих, – так старуха просила. В углу у окна уже подрезывал сигару господин с наглым оливковым лицом в костюме цвета макинтоша.

Марья Павловна расположилась напротив. Медленным взглядом проверила, все ли вещи ее на верхней полке. Два чемодана, корзина. Все. И на коленях глянцеви́тый саквояж. Строго пожевала губами.

Ввалилась чета немцев, шумно дыша.

А за минуту до отхода поезда вошла дама, молодая, с большим накрашенным ртом, в черной плотной шляпе, скрывающей лоб. Устроила вещи и ушла в коридор. Господин в оливковом пиджаке посмотрел ей вслед. Она неумелыми рывками подняла раму, высунулась, прощаясь с кем-то. Ухтомская уловила лепет русской речи.

Поезд тронулся. Дама вернулась в купе. На лице еще медлила улыбка, погасла, лицо стало сразу усталым. Мимо окна плыли задние кирпичные стены домов; на одной была реклама: исполинская папироса, словно набитая золотой соломой. В лучах низкого солнца горели крыши, мокрые от дождя.

Марья Павловна не выдержала. Мягко спросила по-русски:

– Вам не помешает, если положу саквояж сюда?..

Дама встрепенулась:

– Ах, пожалуйста...

Оливковый господин в углу напротив одним глазом глянул на нее через газету.

– А я вот еду в Париж, – сообщила Ухтомская, легко вздохнув. – Там у меня сын. Боюсь, знаете, оставаться в Германии.

Вынула из саквояжа просторный платок, крепко им потерла нос – слева направо и обратно.

– Боюсь. Говорят, революция тут будет. Вы ничего не слышали?

Дама покачала головой. Подозрительным взглядом окинула господина с газетой, немецкую чету.

– Я ничего не знаю. Третьего дня из Петербурга приехала.

Пухлое желтое лицо Ухтомской выразило живое любопытство. Поползли вверх мелкие брови.

– Да што вы!..

Дама сказала быстро и тихо, все время глядя на носок своего башмачка:

– Да. Добрый человек вывез. Я тоже теперь в Париж. Там у меня родственники.

Стала снимать перчатки. С пальца скатился золотой луч – обручальное кольцо. Она поспешно его поймала.

– Вот, кольцо все теряю. Руки, что ли, похудели?

Замолчала, мигая ресницами. В окно, сквозь стеклянную дверь в проход, видать было, как взмывают ровным рядом телеграфные струны.

Ухтомская пододвинулась к даме.

– А скажите, – шумным шепотом спросила она, – ведь им-то теперь... плохо? А?

Черный телеграфный столб пролетел, перебил плавный взмах проводов. Они спустились, как флаг, когда спадает ветер. И вкрадчиво стали подниматься опять... Поезд шел быстро между воздушных стен широкого золотистого вечера. В отделениях, где-то в потолке, потрескивало, дребезжало, словно сыпался дождь на железную крышу. Немецкие вагоны сильно качало. Международный, обитый снутри синим сукном, шел глаже и беззвучнее остальных. В ресторане трое лакеев накрывали к обеду. Один, с серой от стрижки головой и черными бровями, вроде перевернутых усов, думал о баночке, лежащей в боковом кармане. То и дело

облизывался и потягивал носом. В баночке – хрустальный порошок фирмы «Мерк». Он раскладывал ножи и вилки, вставлял в кольца нераспечатанные бутылки – и вдруг не выдержал. Растерянной, белой улыбкой окинул рыжего Макса, спускавшего плотные занавеси, – и бросился через шаткий железный мостик в соседний вагон. Заперся в уборной. Осторожно рассчитывая толчки, высыпал холмик белого порошка на ноготь большого пальца, быстро и жадно приложил его к одной ноздре, к другой, втянул, ударом языка слизал с ногтя искристую пыль, зажмурился от ее упругой горечи – и вышел из уборной пьяный, бодрый, – голова наливалась блаженным ледяным воздухом. Он подумал, переходя между кожаных гармоник обратно в свой вагон: «Вот сейчас легко умереть». Улыбнулся. Лучше подождать до ночи. Жаль было сразу прервать действие упоительного яда.

– Давай талоны, Гуго. Пойду раздавать.

– Нет, пойдет Макс. Макс это делает быстрее. Держи, Макс.

Рыжий лакей сжал в веснушчатом кулаке книжечку билетов. Как лиса, скользнул между столиков. Прошел в голубой коридор международного. Вдоль окон отчаянно взмывали пять отчетливых струн. Небо меркло. В купе второго класса старуха в черном платье, похожая на евнуха, дослушала, тихо охая, рассказ о далекой убогой жизни.

– А муж ваш – остался?

Дама широко распахнула глаза.

– Нет. Он давно за границей. Так уж случилось. В самом начале он поехал на юг, в Одессу.

Ловили его. Я должна была ехать туда, да не выбралась вовремя...

– Ужасы, ужасы. И что же, вы ничего не знаете о нем?

– Ничего. Помню, решила, что он умер. Кольцо стала носить на груди. Боялась, и кольцо отнимут. А в Берлине знакомые сказали, что он жив, что кто-то видел его. Вот объявление поместила вчера в газете.

Дама торопливо вынула из потрепанной шелковой сумочки свернутый газетный лист.

– Вот смотрите...

Ухтомская надела очки, прочла:

«Елена Николаевна Лужина просит откликнуться своего мужа, Алексея Львовича».

– Лужин? – сказала Ухтомская, отцепляя очки. – Уж не Льва ли Сергеевича сын? Двое у него было. Не помню, как звали...

Елена Николаевна светло улыбнулась:

– Как хорошо... Вот это, право, неожиданно. Неужели вы знали его отца?

– Да как же, как же, – самодовольно и ласково заговорила Ухтомская. – Лев Сергееч...

Бывший улан... Усадьбы наши были рядом. В гости приезжал.

– Он умер, – вставила Елена Николаевна.

– Слышала, слышала. Царство ему небесное... С борзой всегда приходил. А мальчиков плохо помню. Я сама восемь лет как за границей. Младший как будто беленький был... заикался...

Елена Николаевна улыбнулась опять:

– Да нет, это старший...

– Ну, так я спутала, милая, – мягко сказала Ухтомская. – Память плоха. И Левушку Лужина не вспомнила бы, если б сами не назвали. А теперь все помню. Вечерком чай пил у нас. Вот, я вам скажу...

Ухтомская слегка придвинулась и продолжала – ясно, слегка певуче, без грусти, будто знала, что говорить о хорошем можно только хорошо, по-доброму, не досадуя на то, что оно исчезло:

– Вот... Тарелки были у нас. Золотая, знаете, каемка, а посередке – по самой середке – комар, ну совсем настоящий... Кто не знает, непременно захочет смахнуть...

Дверь в отделение отворилась. Рыжий лакей предлагал талоны на обед. Елена Николаевна взяла. Взял и оливковый господин, сидевший в углу и с некоторых пор все пытавшийся поймать ее взгляд.

– А у меня – свое, – сказала Ухтомская, – ветчина, сдобная булка...

Рыжий лакей обежал все отделения. Просеменил назад в вагон-ресторан. Мимоходом подтолкнул локтем стриженного, белозубого, стоявшего с салфеткой под мышкой на площадке. Тот блестящими тревожными глазами посмотрел вслед Максу. Он чувствовал во всем теле прохладную щекочущую пустоту, как будто вот-вот сейчас все тело чихнет, вычихнет душу. В сотый раз воображал он, как устроит свою смерть. Рассчитывал каждую мелочь, словно решал шахматную задачу. Думал так: выйти ночью на станции, обогнуть неподвижный вагон, приложить голову к щиту буфера, когда другой вагон станут придвигать, чтобы прицепить к стоящему. Два щита стукнутся. Между ними будет его наклоненная голова. Голова лопнет, как мыльный пузырь. Обратится в радужный воздух. Нужно будет покрепче стать на шпалу, покрепче прижать висок к холодному щиту...

– Не слышишь, что ли? Пора идти звать.

Он испуганно улыбнулся коренастому Гуго и пошел через вагоны, пошатываясь, откидывая дверцы на ходу, громко и торопливо выкрикивая: «К обеду! К обеду!»

В одном отделенье он мельком заметил желтоватое полное лицо старухи, развертывающей бутерброд. Это лицо показалось ему необыкновенно знакомым. Спеша обратно через вагоны, он все думал: кто бы это могла быть? Точно уже видел ее во сне. Чувство, что вот-вот чихнет тело, теперь стало определеннее: вот-вот сейчас вспомню. Но чем больше он напрягал мысли, тем раздражительнее ускользало воспоминанье. Вернулся в столовую хмурый. Раздувал ноздри. Горло сжимала спазма. Не мог переглотнуть.

– А ну, чорт с ней... Какие пустяки...

По коридорам стали проходить, шатаясь, придерживаясь за стенки, пассажиры. В потемневших стеклах уже залоснились отраженья, хотя была еще видна желтая, тусклая полоса заката. Елена Николаевна с тревогой заметила, что оливковый господин выждал, пока она сама не встанет, и только тогда встал тоже. У него были неприятно выпуклые глаза, стеклянные, налитые темным йодом. По проходу он шел так, что чуть не наступал на нее, – и когда ее шарахало в сторону – вагоны сильно качало, – то многозначительно покашливал. Ей почему-то вдруг показалось, что это шпион, доносчик, и знала, что глупо так думать – не в России же она, – и все-таки думала так... Уж слишком потрепало душу за последнее время.

Он сказал что-то, когда они проходили по коридору спального. Тогда она ускорила шаг. По тряскому мостику перешла на площадку ресторана, следующего за международным. И тут внезапно, с какой-то грубой нежностью господин взял ее за руку повыше локтя.

Она едва не вскрикнула и так сильно дернула руку, что пошатнулась.

Господин сказал по-немецки, с иностранным выговором:

– Мое сокровище...

Елена Николаевна круто повернула. Пошла обратно – через мостик, через международный, опять через мостик. Ей было нестерпимо обидно. Лучше вовсе не обедать, чем сидеть против этого чудовищного нахала. Принял ее Бог знает за кого. Только потому, что она красит губы...

– Что вы, голубушка?.. Не идете обедать?

Ухтомская держала бутерброд. Из-под хлебного ломтя, как розовый язык, торчал кусок ветчины.

– Не пойду. Расхотелось. Простите меня – я буду спать.

Старуха удивленно подняла тонкие брови. Потом продолжила жевать.

А Елена Николаевна откинула голову и притворилась, что спит. Вскоре она и впрямь задремала. Бледное, утомленное лицо ее изредка подергивалось. Крылья носа, там, где сошла пудра, блестели. Ухтомская закурила папиросу с длинным картонным мундштуком.

Спустя полчаса вернулся оливковый господин, невозмутимо сел в угол свой, покопал зубочисткой в задних зубах. Потом прикрыл глаза, поерзал, занавесил голову подолом пальто, висевшего на крюке у окна. Еще через полчаса поезд замедлил ход. Прошли, как призраки, фонари вдоль запотевших окон. Вагон остановился, протяжно и облегченно вздохнув. Стало слышно, как кто-то кашляет в соседнем отделении, как пробегают шаги по платформе. Поезд простоял долго – по-ночному переключались далекие свистки, – потом раскачнулся, двинулся.

Елена Николаевна проснулась. Ухтомская дремала, открыв черный рот. Немецкой четы уже не было. Господин с лицом, покрытым пальто, спал тоже, уродливо раскоряча ноги.

Она облизала запекшиеся губы. Устало приложила руки ко лбу. И вдруг вздрогнула: с четвертого пальца исчезло кольцо.

Мгновенье она неподвижно глядела на свою голую руку. Затем, с бьющимся сердцем, растерянно и торопливо стала шарить по сиденью, по полу. Глянула на острое колено господина.

– Ах, Господи, конечно... На площадке ресторана... Когда руку отдернула...

Она выскочила из купе: шатаясь, сдерживая слезы, быстро дыша, побежала по проходам... Одни вагон... второй... спальный... мягкий ковер... Дошла до конца международного и сквозь заднюю дверь увидела – просто – воздух, пустоту, ночное небо, черным клином убегающий путь.

Она подумала, что спутала, не в ту сторону пошла... Всклипнув, повернула назад.

Рядом, у двери уборной, стояла старушка – в сером переднике, с повязкой на рукаве, – похожая на сиделку. Держала ведро, в нем торчала кисть.

– Отцепили, – сказала старушка и почему-то вздохнула, – в Кельне другой будет.

В вагоне-ресторане, оставшемся под сводами дремучего ночного вокзала, лакеи убирали, подметали, складывали скатерти. Лужин, кончив работу, вышел на площадку и встал в проеме двери, опираясь боком на косяк. На вокзале было темно и пустынно. Поодаль сквозь матовое облако дыма влажной звездой лучился фонарь. Чуть блестели потоки рельс. И почему его так встревожило лицо той старухи? – он понять не мог. Все остальное было ясно, только вот это слепое пятно мешало.

Рыжий востроносый Макс вышел на площадку тоже. Подметал. В углу заметил золотой луч. Нагнулся. Кольцо. Спрятал в жилетный карман. Юрко огляделся, не видел ли кто. Спина Лужина в проеме двери была неподвижна. Макс осторожно вынул кольцо; при смутном свете разглядел прописное слово и цифры, вырезанные снутри. Подумал: «По-китайски...» А на самом деле было: «1 августа 1915 г. Алексей». Сунул кольцо обратно в карман.

Спина Лужина двинулась. Он не торопясь сошел вниз. Прошел наискось через темную платформу к соседнему полотну – покойной, свободной походкой, словно прогуливался.

Сквозной поезд влетал в вокзал. Лужин дошел до края платформы и легко спрыгнул. Угольная пыль хрустнула под каблуком.

И в тот же миг одним жадным скоком нагрянул паровоз. Макс, не понимая, видел издали, как промахнули сплошной полосой освещенные окна.

Картофельный Эльф

1

А на самом деле имя его было Фредерик Добсон. Приятелю своему, фокуснику, он рассказывал о себе так:

«Кто в Бристоле не знал детского портного Добсона? Я – сын его. Горжусь этим только из упрямства. Надо вам сказать, что отец мой пил, как старый кит. Однажды, незадолго до моего рождения, он, пожираемый джином, сунул матери моей в постель эдакую, знаете, восковую фигуру – матроска, лицо херувима и первые длинные штаны. Бедняжка чудом не выкинула... Вы сами понимаете, что все это я знаю понаслышке, но, если мне не наврали добрые люди, вот, кажется, тайная причина того, что...»

И Фред Добсон печально и добродушно разводил ладошками. Фокусник со своей обычной мечтательной улыбкой наклонился, брал Фреда на руки и, вздохнув, ставил его на верхушку шкафа, где Картофельный Эльф, покорно свернувшись в клубок, начинал тихо почиживать и скулить.

Было ему двадцать лет от роду, весил он около десяти килограммов, а рост его превышал лишь на несколько сантиметров рост знаменитого швейцарского карлика Циммермана, по прозвищу Принц Бальтазар. Как и коллега Циммерман, Фред был отлично сложен, и – если бы не морщинки на круглом лбу и вокруг прищуренных глаз, да еще этот общий немного жуткий вид напряженности, словно он крепился, чтобы не расти, – карлик бы совсем походил на тихого восьмилетнего мальчика. Волосы его цвета влажной соломы были прилизаны и разделены ровной нитью пробора, который шел как раз посередине головы, чтобы вступить в хитрый договор с макушкой. Ходил Фред легко, держался свободно и недурно танцевал, но первый же антрепренер, занявшийся им, счел нужным отяжелить смешным эпитетом понятие «эльфа», когда взглянул на толстый нос, завещанный карлику его полнокровным озорным отцом.

Картофельный Эльф одним своим видом возбудил ураган рукоплесканий и смеха по всей Англии, а затем и в главных городах на материке. В отличие от других карликов, он был нраву кроткого, дружелюбного: очень привязался к той крохотной пони – Снежинке, на которой прилежно трусил по арене голландского цирка, а в Вене покорила сердце глупого и унылого великана, родом из Омска, тем, что при первой встрече потянулся к нему и по-детски попросил: «Я хочу на ручки».

Выступал он обыкновенно не один. Так, в Вене карлик появлялся вместе с великаном, семеня вокруг него, тщательно одетый, в полосатых штанах, в ловком пиджачке, с большим свитком нот под мышкой. Он подавал великану гитару. Тот стоял как громадная кукла, механическим движением брал инструмент. Длинный сюртук, словно вырезанный из черного дерева, высокие каблуки, цилиндр, схваченный прямыми отблесками, – еще увеличивали рост стройного девятипудового сибиряка. Выпятив могучую челюсть, он бил пальцем по струнам. В антрактах, как женщина, жаловался на головокружения. Фред очень его полюбил и даже всплакнул при расставании, так как быстро привыкал к людям. Жизнь его шла по кругу, мерно и однообразно, как цирковая лошадь. Однажды в потемках кулис он споткнулся о ведро с малярной краской и мягко в него плюхнулся. Он потом долго это вспоминал как нечто необыкновенное.

Так объехал карлик большую часть Европы и откладывал деньги, пел серебряным евнушским дискантом, и в немецких театрах публика ела бутерброды и орехи на соломинках, а в испанских – засахаренные фиалки и тоже орехи на соломинках. Мира он не видел. В памяти у него осталось только: все та же безликая бездна, смеющаяся над ним, а затем – после спектакля

– тихий, мечтательный раскат прохладной ночи, которая кажется такой синей, когда выходишь из театра.

Вернувшись в Лондон, он нашел нового партнера – фокусника по имени Шок. У Шока был певучий голос, тонкие, бледные, как бы бесплотные руки и каштановый клин волос, спадающий на бровь. Он напоминал скорее поэта, нежели фокусника, и фокусы свои показывал с какой-то нежной и плавной печалью, без суетливой болтовни, свойственной его профессии. Картофельный Эльф ему смешно прислуживал, а под конец – с радостным воркующим возгласом появлялся в райке, хотя за минуту до того все видели, как фокусник его запирает в черный ящик, стоявший посреди сцены.

Все это происходило в одном из тех лондонских театров, где появляются и акробаты, режущие в звенящем трепете трапеций, и иностранный тенор (неудачник на родине) с народными песнями, и чревоушатель в морской форме, и велосипедисты, и неизменный, мягко шаркающий по сцене клоун-эксцентрик в крошечном котелке и в жилете до полу.

2

За последнее время Фред как-то помрачнел и все чихал, беззвучно и грустно, как японская собачонка. По целым месяцам не испытывая влечения к женщине, девственный карлик переживал изредка пронзительные приступы одинокой любовной тоски, которые проходили так же внезапно, как и вспыхивали, и снова на время он не замечал ни голых плеч, белеющих за бархатным барьером, ни маленьких акробаток, ни танцовщицы испанской, чьи ляжки обнажались на миг, когда при быстром кружении всхлестывал оранжевый пух ее кудрявых исподних воланов.

– Карлицу бы тебе, – задумчиво сказал Шок, привычным мазком вынув серебряную монету из уха карлика, который отмахнулся согнутой ручкой, словно сгонял муху.

И в эту ночь, когда, после своего номера, Фред в пальтишке и котелке, почихивая и урча, семенит за кулисами по тусклому коридору, – на вершок открывшаяся дверь внезапно брызнула веселым светом, и два голоса позвали его. Это были Зита и Арабелла, сестры-акробатки, обе полураздетые, смуглые, черноволосые, с длинными синими глазами. В комнате был беспорядок, театральная и трепетная пестрота, запах духов. На подзеркальнике валялись пуховки, гребни, граненый флакон с резиновой грушей, шпильки в коробке из-под шоколада, пурпурно-сальные палочки грима.

Сестры мгновенно оглушили карлика своим лепетом. Они щекотали и тискали Фреда, который, весь надувшись темной кровью, смотрел исподлобья и, как шар, перекатывался между быстрых обнаженных рук, дразнивших его. И когда Арабелла, играя, притянула его к себе и упала на кушетку, Фред почувствовал, что сходит с ума, и стал барахтаться и сопеть, вцепившись ей в шею. Откидывая его, она подняла голую руку, он рванулся, скользнул, присосался губами к бритой мышке, к горячей, чуть колючей впадине. Другая, Зита, помирая со смеху, старалась оттащить его за ногу; в ту же минуту со стуком отпахнулась дверь, и, в белом как мрамор трико, вошел француз, партнер акробаток. Молча и без злобы он цопнул карлика за шиворот – только щелкнуло крахмальное крылышко, соскочившее с запонки, – поднял на воздух и, как обезьянку, выбросил его из комнаты. Захлопнулась дверь. Фокусник, бродивший по коридору, успел заметить белый блеск сильной руки и черную фигурку, поджавшую лапки на лету.

Фред больно стукнулся и теперь лежал неподвижно. Сознания он не потерял, только весь как-то обмяк, смотрел в одну точку, мелко стучал зубами.

– Плохо, брат, – вздохнул фокусник, подняв его с полу и прозрачными пальцами потрагивая круглый лоб карлика. – Говорил тебе – не суйся. Вот и попало. Карлицу бы тебе...

Фред молчал, выпучив глаза.

– Переночуешь у меня, – решил Шок и, неся Картофельного Эльфа на руках, направился к выходу.

3

Существовала и госпожа Шок.

Это была дама неопределенных лет, темноглазая, с желтоватыми белками. Ее худоба, пергаментный оттенок кожи, черные сухие волосы, привычка выдувать через ноздри папиросный дым, обдуманная неряшливость платья и прически, – все это мужчин не привлекало, но, вероятно, нравилось фокуснику, хотя на самом деле он жены будто и не замечал, всегда занятый своими сокровенными вымыслами, зыбкий, ненастоящий, думавший о чем-то своем, когда говорил о пустяках, внимательный и зоркий, когда казался погруженным в астрологические мечты. Нора всегда была настороже, ибо он не мог пропустить случай, чтобы не сотворить обмана, мелкого, ненужного, но изысканно хитрого. Так, случалось, что за обедом он изумлял ее необычной прожорливостью, сочно чавкал, обсасывал кости, снова и снова накладывал себе полную тарелку, потом уходил, грустно взглянув на жену, – а погода горничная, хихикая в передник, докладывала, что господин Шок и не притрагивался к обеду, что весь его обед остался в трех новых кастрюлях под столом.

Она была дочь почтенного художника, писавшего только лошадей, пятнистых псов да охотников в красных фраках, и до свадьбы жила в Чельси, восхищалась дымными закатами над Темзой, рисовала, посещала нелепые собрания, на которых бывала лондонская богема, – и там-то ее отметили призрачные глаза тихого, тонкого человека, который говорил мало и еще никому не был известен. Подозревали, что он лирический поэт. Она стремительно им увлеклась. Поэт рассеянно обручился с нею, а в первый же день после свадьбы объявил с печальной улыбкой, что стихов он писать не умеет, и тут же, во время разговора, превратил старый будильник в никелевый хронометр, а хронометр в крошечные золотые часики, которые Нора и носила с тех пор на кисти. Она понимала, что фокусник Шок все-таки поэт в своем роде, но только никогда не могла привыкнуть к тому, что он ежеминутно, при всех обстоятельствах жизни, проявляет свое искусство. Мудрено быть счастливой, когда муж – мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств.

4

Она рассеянно стучала ногтем по стеклу банки, в которой несколько золотых рыбок, будто вырезанных из апельсиновой корки, дышали и вспыхивали плавниками, когда дверь бесшумно открылась и на пороге появился Шок – цилиндр набекрень, каштановая прядь над бровью, – и держал он на руках скрюченную фигурку.

– Принес, – со вздохом сказал фокусник.

Нора быстро подумала: ребенок... найденный... подобрал... Ее темные глаза повлажнели.

– Усыновить придется, – тихо проговорил Шок, выжидательно застывший в дверях.

Фигурка вдруг ожила, забормотала, стала стыдливо царапать по крахмальной груди фокусника. Нора взглянула на маленькие ботинки в замшевых гетрах, на котелок...

– Меня не так-то легко провести, – сказала она, усмехнувшись в нос.

Фокусник укоризненно взглянул на нее; затем опустил Фреда на плюшевый диван, накрыл его пледом.

– Акробат потрепал, – пояснил Шок и не мог не добавить: – Гирей хватил. По самому животишке.

И Нора, сердобольная, как многие бездетные женщины, почувствовала такую особенную жалость, что чуть не расплакалась. Она принялась нянчиться с карликом, накормила, дала портвейну, душистым спиртом натерла ему лоб, виски, детские впадины за ушами.

На следующий день Фред проснулся спозаранку, побродил по незнакомой комнате, поговорил с золотыми рыбками и потом, тихо чихнув, примостился, как мальчик, на широком подоконнике.

Тающий, прелестный туман омывал серые крыши. Где-то вдаль открылось чердачное окно, и стекло поймало блеск солнца. Свежо и нежно пропел автомобильный рожок.

Фред думал о вчерашнем. Странно спутывались смеющиеся голоса акробатов и прикосновения душистых холодных рук госпожи Шок. Его сначала обидели, потом приласкали, а был он очень привязчивый, очень пылкий карлик. Помечтал он о том, что когда-нибудь спасет Нору от сильного грубого человека, вроде того француза в белом трико. Некстати вспомнилась ему пятнадцатилетняя карлица, с которой он где-то выступал вместе. Карлица была востроносая, больная, злющая. Публике ее представили как невесту Фреда, и он, вздрагивая от отвращения, должен был танцевать с нею тесный танго.

Опять одиноко пропел и пронесся рожок. Туман над нежной лондонской пустыней наливался солнцем.

К восьми часам квартира ожила: фокусник, рассеянно улыбаясь, ушел из дома, а куда – неизвестно; вкусно пахло в столовой жареным салом, лежавшим прозрачными ломтиками под горячими пузырями яичницы. Небрежно причесанная, в халате, расшитом парчовыми подсолнухами, появилась госпожа Шок.

После завтрака она угостила Фреда пахучей папиросой, кончик которой был обтянут алым лепестком, и, прикрыв глаза, заставила его рассказывать, как ему живется. В таких случаях голосок Фреда становился чуть басистее, говорил он медленно, подбирая тщательно слова, и эта неожиданная степенность слога – странно сказать – шла к нему. Наклонив голову, сосредоточенный и упругий, он бочком сидел у ног Нору, которая полулежала на плюшевом диване, обнажив острые локти заломленных рук. Карлик, досказав свое, умолк, но все еще поворачивал туда-сюда ладошку, словно продолжал тихо говорить. Его черный пиджачок, наклоненное лицо, мясистый носик, желтые волосы и пробор на макушке неясно умиляли Нору. Глядя на него сквозь ресницы, она старалась представить себе, что это сидит не карлик, а ее несуществующий сын, и рассказывает, как его обижают в школе. Протянув руку, Нора легко погладила его по голове, и в то же мгновение, по непонятному сочетанию мыслей, ей померещилось другое, мстительное и любопытное.

Почувствовав у себя на волосах ее шевелившиеся пальцы, карлик застыл и вдруг начал молча и быстро облизываться. Скосив глаза в сторону, он не мог оторвать взгляд от изумрудного помпона на туфле госпожи Шок.

И внезапно каким-то нелепым и упоительным образом все пришло в движение.

5

В этот сизый, солнечный августовский день Лондон был особенно прекрасен. Легкое, праздничное небо отражалось в гладких потоках асфальта, румяным лаком пылали почтовые тумбы на углах, в гобеленовой зелени парка прокатывал блеск и шелест автомобилей, – весь город искрился, дышал млеющей теплотой, и только внизу, на платформах подземных дорог, было прохладно.

Каждый отдельный день в году подарен одному только человеку, самому счастливому; все остальные люди пользуются его днем, наслаждаясь солнцем или сердясь на дождь, но никогда не зная, кому день принадлежит по праву, и это их незнание приятно и смешно счастливцу. Человек не может провидеть, какой именно день достанется ему, какую мелочь будет вспоми-

нать он вечно – световую ли рябь на стене вдоль воды или кружащийся кленовый лист, да и часто бывает так, что узнает он день свой только среди дней прошедших, только тогда, когда давно уже сорван, и скомкан, и брошен под стол календарный листок с забытой цифрой.

Фреду Добсону, карлику в мышинных гетрах, Господь Бог подарил тот веселый августовский день, который начался нежным гудком и поворотом вспыхнувшей рамы. Дети, возвратившись с прогулки, рассказывали родителям, захлебываясь и изумляясь, что видели карлика в котелке, в полосатых штанах, с тросточкой и парой желтых перчаток в руках.

Страстно простившись с Норой, ожидавшей гостей, Картофельный Эльф вышел на широкую, гладкую улицу, облитую солнцем, и сразу понял, что весь город создан для него одного. Веселый шофер звонким ударом согнул железный флажок таксометра, мимо полилась улица, и Фред то и дело соскальзывал с кожаного сиденья и все смеялся, ворковал сам с собою.

Он вылез у входа в Хайд-Парк и, не замечая любопытных взглядов, засеменял вдоль зеленых складных стульев, вдоль бассейна, вдоль огромных кустов рододендрона, темневших в тени ильмов и лип, над муравой, яркой и ровной, как бильярдное сукно. Мимо проносились всадники, легко подскакивая, скрипя желтой кожей краг, взмахивали тонкие конские морды, звякая удилами, – и черные дорогие машины, ослепительно вспыхивая спицами, сдержанно катились по крупному кружеву лиловых теней.

Карлик шел, вдыхая теплый запах бензина, запах листвы, как бы уже гниющей от избытка зеленого сока, и вертел тросточкой, надувал губы, словно собираясь свистеть, – такое было в нем чувство свободы и легкости. Нора проводила его с такой торопливой нежностью, так взволнованно смеялась, – видно, ей страшно было, что старик-отец, который всегда являлся ко второму завтраку, начнет что-нибудь подозревать, заставши у нее незнакомого господина.

В этот день его видели повсюду – и в парке, где румяная няня в крахмальной наколке, толкавшая детскую коляску, почему-то предложила его прокатить, и в залах Британского музея, и на живой лестнице, медленно выползающей из подземных глубин, полных электрических дуновений, нарядных реклам, гула, и в изысканном магазине, где продаются только мужские платки, и на хребте автобуса, куда посадили его чьи-то добрые руки.

А потом он устал, ошалел от движения и блеска, стало тревожно от смеющихся глаз. И надо было осмыслить то широкое чувство свободы, гордости, счастья, которое не покидало его.

Когда, проголодавшись, Фред зашел в знакомый ресторанчик, где собирались всякого рода артисты и где его присутствие никого не удивляло, он понял, взглянув на посетителей, на старого, скучного клоуна, уже пьяного, на своего врага француза, дружелюбно ему кивнувшего, понял совершенно отчетливо, что на подмостки он не выйдет больше никогда.

В ресторане было еще по-дневному темновато. Скучный клоун, смахивающий на прогоревшего банкира, и акробат, странно неуклюжий в пиджаке, молча играли в домино. Испанская танцовщица в громадной шляпе, бросившей синюю тень на глаза, сидела одна за угловым столиком, перекинув ногу на ногу. Было еще семь-восемь человек, незнакомых Фреду; он разглядывал их лица, поблекшие от грима, пока лакей подкладывал ему подушку, вскидывал скатертью, проворно расставлял прибор.

И внезапно поодаль, в сумраке ресторана, Фред узнал тонкий профиль фокусника, который тихо беседовал с пожилым, тучным господином американского пошиба. Фред не ожидал встретить фокусника, никогда не посещавшего кабаки, да и вообще позабыл об его существовании. Теперь ему стало так жаль бедного Шока, что он сперва решил все скрыть от него; но подумал, что все равно Нора обманывать не умеет и, вероятно, сегодня же объявит мужу (я полюбила Фреда Добсона, я покидаю тебя...), – а ведь это разговор неприятный, трудный, и потому надо ей облегчить дело, – он рыцарь ее, он гордится ее любовью, – и как бы он Шока ни жалел, а огорчить его придется.

Между тем лакей принес порцию пирога с почками и каменную бутылку имбирного пива. Затем включил свет. Там и сям над пыльным бархатом вспыхнули стеклянные цветы, и карлик

видел издали, как золотистым блеском засквозила каштановая прядь на лбу у фокусника, как из света в тень переходили его нежные прозрачные пальцы. Его собеседник встал, оправляя под пиджаком кожаный пояс и льстиво улыбаясь Шоку, который проводил его до вешалки. Толстяк нахлобучил широкополую шляпу, пожал легкую руку фокусника и, все еще подтягивая штаны, вышел из ресторана. На миг засветлела полоска остывающего дня, и лампочки в ресторане стали желтее. Бухнула дверь.

– Шок! – позвал Картофельный Эльф, суча ножками под столом.

Шок подошел. На ходу задумчиво вынул из бокового кармана горящую сигару, затянулся, выпустил клуб дыма и сунул ее обратно за пазуху. Как он это делал – неизвестно.

– Шок, – сказал карлик, у которого от имбирного пива покраснел нос, – мне нужно с вами поговорить. Это очень важно.

Фокусник сел рядом, облокотился.

– Голова не болит? – спросил он равнодушно.

Фред вытер губы салфеткой; никак не знал, как начать, чтобы не сделать слишком больно другу.

– А нынче вечером я выступаю вместе с тобой в последний раз, – сказал фокусник. – Американец увозит. Выходит, кажется, недурно.

– Послушайте, Шок. – И карлик, кроша хлеб, стал с трудом подбирать нужные слова. – Вот... Будьте храбрым, Шок. Я люблю вашу жену. Сегодня, когда вы ушли, я с нею... мы с нею... она...

– Только я плохо переношу качку, – задумчиво проговорил фокусник, – а до Бостона неделя... Я плыл в Индию когда-то. Потом чувствовал себя, как вот нога, когда ее отсидишь.

Фред, багровея, тер о скатерть кулачком. Фокусник тихо засмеялся своим мыслям, затем спросил:

– А ты что-то хотел сказать мне, дружок?

Карлик глянул в его прозрачные глаза, смущенно замотал головой:

– Нет, нет... Ничего... С вами невозможно говорить.

Шок протянул руку, хотел, видно, выщелкнуть монету из уха карлика, – но, в первый раз за многие годы мастерских чародейств, монета некстати выпала, слишком слабо захваченная мускулами ладони. Фокусник подхватил ее, встал.

– А я здесь обедать не буду, – сказал он, с любопытством разглядывая макушку карлика, – мне тут не нравится.

Фред, надутый и молчаливый, ел печеное яблоко. Фокусник незаметно ушел. В ресторане было пустынно. Томную испанскую плясунью в большой шляпе увел неловкий, прекрасно одетый молодой человек с голубыми глазами.

«Не хочет слушать, так и не надо», – подумал Фред, облегченно вздохнув и решив про себя, что в конце-то концов Нора объяснит лучше. Потом он попросил бумаги и стал писать ей письмо. Кончалось оно так: «Теперь Вы понимаете, что продолжать прежнюю жизнь я не могу. Каково было бы Вам знать, что каждый вечер людское стадо хохочет над Вашим избранником? Завтра же я уезжаю, порвав ангажемент. Напишу Вам снова, как только найду тот мирный уголок, где, после Вашего развода, мы будем любить друг друга, моя Нора».

Так завершился быстрый день, подаренный карлику в мышинных гетрах.

6

Лондон осторожно вечерел. Уличные звуки сливались в тихий музыкальный гул, словно кто-то, перестав играть, все еще нажимал педаль. Черные листья парковых лип выделялись на прозрачном небе, как узоры из пиковых тузов. Иногда, на повороте улицы или между двух

траурных башен, появлялся, как видение, пожар заката. Шелестели в окнах шторы, спадали мягкими хлопьями.

Фокусник всегда заезжал домой пообедать и переодеться в профессиональный фрак, чтобы потом сразу отправиться в театр. Нора в этот вечер ждала его с особенным нетерпением, трепеща от дурной радости. Радовалась она тому, что теперь и она имеет свою тайну. Самого карлика не хотелось вспоминать. Карлик был неприятный червячок.

Тонко шелкнул замок входной двери. Как это часто бывает, когда знаешь, что обманул человека, лицо фокусника показалось ей новым, почти чужим. Кивнув ей, он как-то стыдливо и грустно опустил ресницы; молча сел за стол против нее. Нора взглянула на его легкий серый пиджак, в котором он казался еще тоньше, еще неуловимее, и глаза ее заиграли теплым торжеством, злой живчик задрожал в уголку рта.

Она спросила, наслаждаясь небрежностью вопроса:

– Как поживает твой карлик? Я думала, ты приведешь его.

– Не видал сегодня, – ответил Шок, принимаясь есть. Вдруг он спохватился: вынул пузырек и, осторожно скрипнув пробкой, наклонил его над рюмкой с вином.

Нора с раздражением подумала, что сейчас будет фокус, вино станет ярко-синим или прозрачным, как вода, но цвет вина не изменился. Шок, уловив ее взгляд, туманно улыбнулся.

– Для пищеварения... Капли такие, – объяснил он. Волна задумчивости прошла по его лицу.

– Лжешь, как всегда, – сказала Нора. – У тебя отличный желудок.

Фокусник тихо засмеялся. Потом деловито кашлянул и одним залпом осушил рюмку.

– Да ешь же, – сказала Нора. – Остынет.

Злорадно подумала: «Ах, если б ты знал! Никогда не узнаешь. В этом теперь моя сила».

Фокусник ел молча. Вдруг он поморщился, отодвинул тарелку и заговорил. Как обычно, глядел он не прямо на жену, а чуть повыше ее, и голос был певуч и мягок. Он рассказывал, как сегодня побывал у короля в Виндзоре, куда пригласили его развлекать маленьких герцогов в бархатных куртках и кружевных воротниках. Рассказывал он живописно и легко, передразнивая виденных лиц, посмеивался, чуть вбок наклоняя голову.

– Я выпустил стаю белых голубей из цилиндра, – рассказывал он.

«А у карлика были потные ручки, и ты все врешь», – мысленно вставила Нора.

– ...И, знаешь, эти самые голуби стали летать вокруг королевы. Она от них отмахивалась и улыбалась из вежливости.

Фокусник встал, пошатнулся, легко оперся двумя пальцами об край стола и проговорил, словно доканчивая свой рассказ:

– Мне нехорошо, Нора. Я выпил яду. Ты не должна была мне изменять.

Его горло надулось, и, прижав платок к губам, он вышел из комнаты.

Нора стремительно поднялась, смахнув янтарями длинного ожерелья серебряный нож с тарелки.

«Все нарочно, – злобно подумала она. – Хочет напугать, помучить меня. Нет, брат, ни к чему. Увидишь!»

Ей было досадно, что Шок так просто разгадал ее тайну, но по крайней мере у нее теперь будет повод все ему высказать, крикнуть, что ненавидит его, презирает неистово, что он не человек, а резиновый призрак, что жить с ним дольше она не в силах, что...

Фокусник сидел на постели, сгорбившись и мучительно стиснув зубы, но попытался улыбнуться, когда в спальню ворвалась Нора.

– Так и поверю, так и поверю, – захлебывалась она. – Нет уж, конечно! И я умею обманывать. Ты гадок мне, ах, ты смешон мне своими неудачными фокусами!

Шок, продолжая растерянно улыбаться, старался встать с постели, шаркал подошвой по ковру. Нора замолкла, придумывая, что бы еще крикнуть оскорбительного.

– Не надо... Если что... прости меня... – с трудом выдохнул Шок.

Жила вздулась у него на лбу. Он еще больше скорчился, заклокотал, потряхивая потной прядью волос, – и платок, который он судорожно придавил ко рту, набух бурой кровью.

– Перестань дурака валять, – топнула ногой Нора.

Он выпрямился, бледный как воск, отшвырнул платок в угол:

– Постой, Нора... Ты не понимаешь... Это – мой последний фокус... Больше не буду...

Снова исказилось его страшное, лоснящееся лицо. Он закачался, опустился на постель, откинул голову.

Нора подошла, поглядела, сдвинув брови. Шок лежал, закрыв глаза, скрипя стиснутыми зубами. Когда она наклонилась над ним, его ресницы вздрогнули, он посмотрел туманно, как бы не узнавая жены, и вдруг узнал, и в его глазах мелькнул влажный луч нежности и страдания.

И мгновенно Нора поняла, что она любит его больше всего на свете, и ужас и жалость вихрем обдали ее. Она закружилась по комнате, для чего-то налила воды в стакан, оставила его на раковине, опять подлетела к мужу, который привстал и, прижав край простыни к губам, вздрагивал, ухал, выпучив бессмысленные, уже отуманенные смертью глаза. Тогда она всплеснула руками, метнулась в соседнюю комнату, где был телефон, долго шатала вилку, спутала номер, позвонила сызнова, со стоном дыша и стуча кулаком по столу, и, когда наконец донесся голос доктора, крикнула, что муж отравился, умирает, бурно зарыдала в трубку и, криво повесив ее, кинулась обратно в спальню.

Фокусник, светлый и гладкий, в белом жилете, в черных чеканных штанах, стоял перед трюмо и, расставив локти, осторожно завязывал галстук. Увидя в зеркало Нору, он, не оборачиваясь, рассеянно улыбнулся ей и, тихо посвистывая, продолжал тереть прозрачными пальцами черные шелковые углы.

7

Городок Друзи, в Северной Англии, был такой сонный на вид, что казалось, будто кто-то позабыл его среди туманных, плавных полей, где городок и заснул навеки. Был почтамт, велосипедный магазин, две-три табачных лавки с красно-синими вывесками, старинная серая церковь, окруженная могильными плитами, на которых потягивалась тень громадного каштана, – и вдоль единственной улицы шли зеленые ограды, садики, низкие кирпичные дома, косо обтянутые плющом. Один из этих домишек был сдан некоему Ф. Добсону, которого никто в лицо не знал, кроме доктора, а доктор болтать не любил. Господин Добсон, по-видимому, никогда не выходил из дому, и его экономка, строгая, толстая женщина, служившая раньше в приюте для душевнобольных, отвечала на случайные вопросы соседей, что господин Добсон – старик-паралитик, обреченный жить в полусумраке и тишине. Его и позабыли в тот же год, как прибыл он в Друзитон: стал он чем-то незаметным, но всеми принятым на веру, как тот безымянный епископ, чей каменный образ стоял так давно в нише над церковными воротами. По-видимому, у таинственного старика был внук – тихий, белокурый мальчик, который иногда в сумерки выходил из дому господина Добсона мелкой и робкой походкой. Случалось это, впрочем, так редко, что никто не мог сказать наверняка, тот ли это все мальчик или другой, – да и сумерки были туманные, синие, смягчающие все очертания. Так дремотные, нелюбопытные жители городка проглядели вовсе, что мнимый внук мнимого паралитика не растет с годами и что его льняные волосы не что иное, как прекрасно сделанный паричок. Ибо Картофельный Эльф начал лысеть в первый же год своей новой жизни, и вскоре его голова стала такой гладкой и блестящей, что строгой Анне, его экономке, подчас хотелось ладонью обхватить эту смешную круглоту. В остальном он изменился мало: только, пожалуй, чуть отяжелело брюшко да багровые ниточки засквозили на потемневшем, пухлом носу, который он пудрил, когда наря-

жался мальчиком. Кроме того, и Анна, и доктор знали, что те сердечные припадки, которыми карлик страдал, добром не кончатся.

Жил он мирно и незаметно в своих трех комнатах, выписывал из библиотеки книжки по три, по четыре в неделю – все больше романы, – завел себе черную, желтоглазую кошку, так как смертельно боялся мышей, которые вечером мелко шарахались, словно перекатывали деревяшки, в углу за шкапом; много и сладко ел – иной раз даже вскочит среди ночи и, зябко просеменив по холодному полу, маленький и жуткий в своей длинной сорочке, лезет, как мальчик, в буфет за шоколадными печеньями. И все реже вспоминал он свою любовь и первые страшные дни, проведенные им в Друзитоне.

Впрочем, в столе, среди тонких, прилежно сложенных афиш, еще хранился у него лист почтовой бумаги телесного цвета с водяным знаком в виде дракона, исписанный угловатым, неразборчивым почерком. Вот что стояло на этом листе: «Дорогой господин Добсон. Я получила и второе Ваше письмо, в котором Вы меня зовете приехать к Вам в Д. Я боюсь, что вышло страшное недоразумение. Постарайтесь простить и забыть меня. Завтра мы с мужем уезжаем в Америку и, вероятно, вернемся не скоро. Не знаю, что еще Вам написать, мой бедный Фред».

Тогда-то и случился с ним первый сердечный припадок. Кроткий блеск удивления с тех пор остался у него в глазах. И в продолжение многих дней он все ходил по дому, глотая слезы и помахивая у себя перед лицом дрожащей маленькой рукой.

А потом Фред стал забывать, полюбил уют, до сих пор им неведомый, – голубые пленки пламени над углями в камине, пыльные вазочки на полукруглых полках, гравюру между окон: сенбернар с флягой у ошейника и ослабевший путник на черной скале. Редко вспоминал он свою прежнюю жизнь. Только во сне порою чудилось ему, что звездное небо наполняется зыбким трепетом трапеций, – и потом захлопывали его в черный ящик, он слышал сквозь стенки певучий, равнодушный голос Шока и не мог найти люк в полу, задыхался в клейком сумраке, – а голос фокусника становился все печальнее, удалялся, таял, – и Фред просыпался со стоном на своей широкой постели в тихой и темной спальне, где чуть пахло лавандой, и долго глядел, задыхаясь и прижимая кулачок к спотыкающемуся сердцу, на бледное пятно оконной занавески.

И с годами все слабее и слабее вздыхала в нем тоска по женской любви, словно Нора мгновенно вытянула из него весь жар, так мучивший его когда-то. Были, правда, некоторые дни, некоторые весенние смутные вечера, когда карлик, стыдливо нарядившись в короткие штаны и прикрыв лысину белокурым паричком, уходил из дому в сумеречную муть и, семена тропинкой вдоль полей, вдруг замирал и глядел, томясь, на туманную чету влюбленных, оцепневших у изгороди, под защитой цветущей ежевики. А потом и это прошло, и людей он перестал видеть вовсе. Только изредка заходил доктор, седой, с пронзительными черными глазами, и, сидя против Фреда за шахматной доской, с любопытством и наслаждением разглядывал мягкие ручки, бульдожье лицо карлика, который, обдумывая ход, морщил выпуклый лоб.

Прошло восемь лет. Было воскресное утро. На столе, накрытый колпаком в виде головы попугая, ждал Фреда кувшин какао. В окно лилась солнечная зелень яблонь. Толстая Анна смахивала пыль с крышки маленькой пианолы, на которой карлик иногда играл валки вальсы; на банку апельсинового варенья садились мухи и потирали передние лапки.

Вошел Фред, слегка заспанный, в клетчатых туфлях на босу ногу, в черном халатике с желтыми бранденбургками. Сел к столу, щурясь от блеска и поглаживая рукой лысину. Анна ушла в церковь. Фред притянул к себе иллюстрированный листок воскресной газеты, долго разглядывал, то поджимая, то выпячивая губы, премированных щенят, русскую балерину, склоненную в лебедином томлении, цилиндр и мордастое лицо всех надувшего финансиста. Под столом кошка, выгнув спину, терлась об его голую лодыжку. Он допил какао, встал, позевывая; ночью ему было чрезвычайно скверно, – никогда еще так сердце не мучило, и теперь ему было лень одеваться, неприятно холодели ноги. Он перебрался на кресло у окна, сложился

калачиком и так сидел, ни о чем не думая, и рядом потягивалась кошка, разевающая крошечную розовую пасть.

В передней затренькал звонок.

«Доктор», – подумал Фред равнодушно и, вспомнив, что Анна в церкви, сам пошел открывать.

В дверь хлынуло солнце. На пороге стояла высокая дама, вся в черном. Фред отскочил, пробормотал что-то и, запахивая халат, кинулся в комнаты. На бегу потерял туфлю, не успел подобрать, – надо было скорее спрятаться, только бы не успели заметить, что он карлик. Прерывисто дыша, он остановился среди гостиной. Ах, надо было просто захлопнуть входную дверь!.. И кто это мог зайти к нему? Ошибка какая-нибудь...

И вдруг он отчетливо слышал стук приближающихся шагов. Он метнулся из гостиной в спальню, хотел запереться, да не было ключа. В гостиной на ковре осталась вторая туфля.

– Это ужасно, – передохнул Фред и прислушался.

Шаги вошли в гостиную. Тогда, с легким стоном, карлик подбежал к платяному шкафу – спрятаться бы!..

Голос, несомненно знакомый, выкликнул его имя, и открылась дверь.

– Фред, отчего вы так боитесь меня?

Карлик, босой, со вспотевшей лысиной, в черном своем халатике, замер у шкафа, все еще держась за кольцо замка. Ему вспомнились очень живо оранжевые рыбки за стеклом.

Она болезненно постарела за эти годы. Под глазами были оливковые тени; отчетливее, чем некогда, темнели волоски над верхней губой. И от черной шляпы ее, от строгих складок черного платья веяло чем-то пыльным и горестным.

– Я никогда не думал... – медленно начал Фред, глядя на нее исподлобья.

Нора взяла его за плечи, повернула к свету, жадными и печальными глазами стала разглядывать его черты. Карлик смущенно мигал, мучительно жалея, что он без парика, и дивясь волнению Норы. Он так давно перестал думать о ней, что теперь, кроме грусти и удивления, он не чувствовал ничего. Нора закрыла глаза, все еще держа его за плечи, и потом, легонько оттолкнув карлика, отвернулась к окну.

Фред кашлянул:

– Я вас совсем потерял из виду. Скажите, как поживает Шок?

– Фокусы показывает, – ответила рассеянно Нора. – Мы только недавно вернулись в Лондон.

Она, не снимая шляпы, села в кресло у окна, продолжая со странной пристальностью смотреть на Фреда.

– Так, значит, Шок... – торопливо заговорил карлик, чувствуя неловкость от ее взгляда.

– Все тот же, – сказала Нора и, не сводя с него блестящих глаз, стала быстро стягивать и комкать перчатки, глянцево черные, с белым исподом.

«Неужели она опять...» – отрывисто подумал карлик. Пронеслось в мыслях: банка с рыбками, запах одеколona, изумрудные помпоны на туфлях.

Нора встала: двумя черными комочками покатались перчатки на пол.

– Сад маленький, но в нем яблони, – сказал Фред и все продолжал недоумевать: «Неужели я когда-нибудь мог... Она совсем желтая. С усами. И что это она все молчит?» – Но я редко выхожу, – говорил он, слегка раскачиваясь на стуле и потирая колени.

– Фред, – сказала Нора, – знаете ли вы, почему я приехала к вам?

Она подошла к нему вплотную. Фред с виноватой усмешкой соскользнул со стула, стараясь увернуться. Тогда она очень тихо сказала:

– У меня ведь был сын от вас...

Карлик замер, уставившись на крошечное оконце, горевшее на синей чашке. Робкая, изумленная улыбка заиграла в уголках его губ, расширилась, озарила лиловатым румянцем его щеки.

– Мой... сын...

И мгновенно он понял все, весь смысл жизни, долгой тоски своей, блика на чашке.

Он медленно поднял глаза. Нора боком сидела на стуле и плакала навзрыд. Как слеза, сверкала стеклянная головка ее шляпной булавки. Кошка, нежно урча, терлась об ее ноги.

Карлик подскочил к ней, вспомнил роман, недавно читанный.

– Да вы не бойтесь, – сказал он, – да вы не бойтесь, я не возьму его от вас. Я так счастлив.

Она взглянула на него сквозь туман слез. Хотела объяснить что-то, переглотнула, увидела, каким нежным и радостным светом весь пышет карлик, – и не объяснила ничего.

Встала, торопливо подняла с полу липко-черные комочки перчаток.

– Ну вот, теперь вы знаете... Больше ничего не нужно... Я пойду.

Внезапная мысль кольнула Фреда. К дрожи счастья примешался пронзительный стыд. Он спросил, теребя бренденбурги халата:

– А он какой? Он не...

– Нет, нет, – большой, как все мальчики, – быстро сказала Нора и разрыдалась опять.

Фред опустил ресницы:

– Я бы хотел видеть его.

Радостно спохватился:

– О, я понимаю, – он не должен знать, что я вот такой. Но, может быть, вы устроите...

– Да, непременно, непременно, – торопливо, почти сухо говорила Нора, направляясь к двери. – Как-нибудь устроим... А я должна идти... Поезд... Двадцать минут ходьбы до станции.

Обернувшись в дверях, она в последний раз тяжело и жадно впиалась глазами в лицо Фреда. Солнце дрожало на его лысине; прозрачно розовели уши. Он ничего не понимал от изумления и счастья. И когда она ушла, Фред еще долго стоял посреди комнаты, боясь неосторожным движением расплескать сердце. Он старался вообразить своего сына и мог только вообразить самого себя, одетого школьником, в белокуром паричке. Он как-то перенес свой облик на сына, – сам перестал ощущать себя карликом.

Он видел, как он входит в дом, встречает сына; с острой гордостью гладит его по светлым волосам... И потом, вместе с ним и с Норой, – глупая, как она испугалась, что он отнимет мальчика! – выходит на улицу, и на улице...

Фред хлопнул себя по ляжкам. Он даже забыл у Норы спросить адрес.

И тогда началось что-то сумасшедшее, несуразное. Он бросился в спальню, стал одеваться, неистово торопясь; надел все самое лучшее, крахмальную рубашку, полосатые штаны, пиджак, сшитый когда-то в Париже, – и все улыбался, и ломал ногти в щелках тугих ящичков, и дважды должен был присесть, – так вздувалось и раскатывалось сердце, – и снова попрыгивал по комнате, отыскивал котелок, которого так давно не носил, и наконец, мимоходом посмотревшись в зеркало, где мелькнул статный пожилой господин, строго и изящно одетый, Фред сбежал по ступеням крыльца, уже полный новой ослепительной мысли: вместе с Норой поехать в Лондон – он успеет догнать ее – и сегодня же вечером взглянуть на сына.

Широкая, пыльная дорога вела прямо к вокзалу. Было по-воскресному пустынно, но ненароком из-за угла вышел мальчишка с крикетной лаптой в руке. Он-то первый и заметил карлика. Хлопнул себя по цветной кепке, глядя на удалявшуюся спину Фреда, на мелькание мышинных гетр.

И сразу, Бог весть откуда взявшись, появились другие мальчишки и, разинув рты, стали вкрадчиво догонять карлика. Он шел все быстрее, поглядывая на золотые часы, посмеиваясь и волнуясь. От солнца слегка поташнивало. А мальчишек все прибавлялось, и редкие прохожие

в изумлении останавливались, где-то звонко пролились куранты, сонный городок оживал и вдруг разразился безудержным, давно таимым смехом.

Не в силах сладить со своим нетерпением, Картофельный Эльф пустился бежать. Один из мальчишек прошмыгнул вперед, заглянул ему в лицо; другой крикнул что-то грубым, гортанным голосом. Фред, морщась от пыли, бежал, и вдруг показалось ему, что мальчишки, толпой следовавшие за ним, – все сыновья его, веселые, румяные, стройные, – и он растерянно заулыбался, и все бежал, крикая, стараясь забыть сердце, огненным клином ломавшее ему грудь.

Велосипедист на сверкающих колесах ехал рядом с ним, прижимал рупором кулак ко рту, ободрял его, как это делается во время состязаний. На пороги выходили женщины, шурились от солнца, громко смеялись, указывая друг другу на пробежавшего карлика. Проснулись все собаки в городке; прихожане в душной церкви невольно прислушивались к лаю, к задорному улюлюканью. И все густела толпа, бежавшая вокруг карлика. Думали, что это все – великолепная шутка, цирковая реклама, съемки...

Фред начинал спотыкаться, в ушах гудело, запонка впивалась в горло, нечем было дышать. Стон смеха, крик, топот ног оглушили его. Но вот, сквозь туман пота, он увидел перед собой черное платье. Нора медленно шла вдоль кирпичной стены в потоках солнца. И вот – обернулась, остановилась. Карлик добежал до нее, вцепился в складки юбки...

С улыбкой счастья взглянул на нее снизу вверх, попытался сказать что-то – и тотчас, удивленно подняв брови, сполз на панель. Кругом шумно дышала толпа. Кто-то, сообразив, что все это не шутка, нагнулся над карликом и тихо свистнул, снял шапку. Нора безучастно глядела на крохотное тело Фреда, похожее на черный комочек перчатки. Ее затолкали. Кто-то взял ее за локоть.

– Оставьте меня, – вяло проговорила Нора, – я ничего не знаю... У меня на днях умер сын...

Пасхальный дождь

В этот день одинокая и старая швейцарка – Жозефина Львовна, как именовали ее в русской семье, где прожила она некогда двенадцать лет, – купила полдюжины яиц, черную кисть и две пурпурных пуговицы акварели. В этот день цвели яблони, и реклама кинематографа на углу отражалась вверх ногами в гладкой луже, и утром горы за озером Лемана были подернуты сплошной шелковистой дымкой, подобной полупрозрачной бумаге, которой покрываются офорты в дорогих книгах. Дымка обещала погожий день, но солнце только скользнуло по крышам косых каменных домишек, по мокрым проволокам игрушечного трамвая и снова растаяло в туманах; день выдался тихий, по-весеннему облачный, а к вечеру пахло с гор тяжелым ледяным ветром, и Жозефина, шедшая к себе домой, так закашлялась, что в дверях пошатнулась, побагровела, оперлась на свой туго спеленутый зонтик, узкий, как черная трость.

В комнате уже было темно. Когда она зажгла лампу, осветились ее руки, худые, обтянутые глянцевиной кожей, в старческих веснушках, с белыми пятнышками на ногтях.

Жозефина разложила на столе свои покупки, сбросила пальто и шляпу на постель, налила воды в стакан и, надев пенсне с черными ободками, – от которых темно-серые глаза ее стали строгими, под густыми, траурными бровями, сросшимися на переносице, – принялась красить яйца. Но оказалось, что акварельный кармин почему-то не пристает, надо было, пожалуй, купить какой-нибудь химической краски, да она не знала, как спрашивать, постеснялась объяснить. Подумала: не пойти ли к знакомому аптекарю, – заодно достала бы аспирину. Тело было так вяло, от жара ныли глазные яблоки; хотелось тихо сидеть, тихо думать. Сегодня у русских – Страстная суббота.

Когда-то на Невском проспекте оборванцы продавали особого рода щипцы. Этими щипцами было так удобно захватить и вынуть яйцо из горячей темно-синей или оранжевой жидкости. Но были также и деревянные ложки: легко и плотно постукивали о толстое стекло стаканов, в которых пряно дымилась краска. Яйца потом сохли по кучкам – красные с красными, зеленые с зелеными. И еще иначе расцвечивали их: туго обертывали в тряпочки, подложив бумажку декалькомани, похожую на образцы обоев. И после варки, когда лакей приносил обратно из кухни громадную кастрюлю, так занятно было распутывать нитки, вынимать рябые, мраморные яйца из влажных, теплых тряпок: от них шел нежный пар, детский запах.

Странно было старой швейцарке вспоминать, что, живя в России, она тосковала, посылала на родину, друзьям, длинные, меланхолические, прекрасно написанные письма о том, что она всегда чувствует себя лишней, непонятой. Ежедневно после завтрака ездил она кататься с воспитанницей Элен в широком открытом ландо; и рядом с толстым задом кучера, похожим на исполинскую синюю тыкву, сутулилась спина старика – выездного, – золотые пуговицы, кокарда. И из русских слов она только и знала, что: кутчер, тиш-тиш, ничего...

Петербург покинула она со смутным облегчением – как только началась война. Ей казалось, что теперь она без конца будет наслаждаться болтовней вечерних друзей, уютом родного городка. А вышло как раз наоборот; настоящая ее жизнь – то есть та часть жизни, когда человек острее и глубже всего привыкает к вещам и к людям, – протекла там, в России, которую она бессознательно полюбила, поняла и где ныне Бог весть что творится... А завтра – православная Пасха.

Жозефина Львовна шумно вздохнула, встала, прикрыла плотнее оконницу. Посмотрела на часы – черные, на никелевой цепочке. Надо было все-таки что-нибудь сделать с яйцами этими: она предназначила их в подарок Платоновым, пожилой русской чете, недавно осевшей в Лозанне, в родном и чуждом ей городке, где трудно дышать, где дома построены случайно, вповалку, вкривь и вкось – вдоль крутых угловатых улочек.

Она задумалась, слушая гул в ушах, потом встрепелась, вылила в жестяную банку пузырек лиловых чернил и осторожно опустила туда яйцо.

Дверь тихо отворилась. Вошла, как мышь, соседка, м-ль Финар – тоже бывшая гувернантка, – маленькая, худенькая, с подстриженными, сплошь серебряными волосами, закутанная в черный платок, отливающий стеклярусом. Жозефина, услыша ее мышьиные шажки, неловко прикрыла газетой банку, яйца, что сохли на промокательной бумаге.

– Что вам нужно? Я не люблю, когда входят ко мне так...

М-ль Финар боком взглянула на взволнованное лицо Жозефины, ничего не сказала, но страшно обиделась и молча, все той же мелкой походкой, вышла из комнаты.

Яйца были теперь ядовито-фиолетового цвета. На одном – непокрашенном – она решила начертить две пасхальных буквы, как это всегда делалось в России. Первую букву «Х» написала хорошо, – но вторую никак не могла правильно вспомнить, и в конце концов вышло у нее вместо «В» нелепое кривое «Я». Когда чернила совсем высохли, она завернула яйца в мягкую туалетную бумагу и вложила их в кожаную свою сумку.

Но какая мучительная вялость... Хотелось лечь в постель, выпить горячего кофе, вытянуть ноги... Знобило, кололо веки... И когда она вышла на улицу, снова сухой треск кашля подступил к горлу. На дворе было пустынно, сыро и темно. Платоновы жили неподалеку. Они сидели за чайным столом, и Платонов, плешивый, с жидкой бородкой, в саржевой рубашке с косым воротом, набивал в гильзы желтый табак, – когда, стукнув в дверь набалдашником зонтика, вошла Жозефина Львовна.

– А, добрый вечер, Mademoiselle...

Она подседа к ним, безвкусно и многословно заговорила о том, что завтра – русская Пасха. Вынула по одному фиолетовые яйца из сумки. Платонов заметил то, на котором лиловели буквы «Х. Я.», и рассмеялся.

– Что это она еврейские инициалы закатила...

Жена его, полная дама, со скорбными глазами, в желтом парике, вскользь улыбнулась; равнодушно стала благодарить, растягивая французские гласные. Жозефина не поняла, почему засмеялись. Ей стало жарко и грустно. Опять заговорила; чувствовала, что говорит совсем не то, – но не могла остановиться:

– Да, в этот момент в России нет Пасхи... Это бедная Россия. О, я помню, как целовались на улицах. И моя маленькая Элен была в этот день как ангел... О, я по целым ночам плачу, когда думаю о вашей прекрасной родине...

Платоновым было всегда неприятно от этих разговоров. Как разорившиеся богачи скрывают нищету свою, становятся еще горделивее, неприступнее, так и они никогда не толковали с посторонними о потерянной родине, и потому Жозефина считала втайне, что они России не любят вовсе. Обычно, когда она приходила к ним, ей казалось, что вот начнет она говорить со слезами на глазах об этой прекрасной России, и вдруг Платоновы расплачутся и станут тоже вспоминать, рассказывать, и будут они так сидеть втроем всю ночь, вспоминая и плача, и пожимая друг другу руки.

А на самом деле этого не случалось никогда... Платонов вежливо и безучастно кивал бородкой, – а жена его все норовила расспросить, где подешевле можно достать чаю, мыла.

Платонов принялся вновь набивать папиросы; жена его ровно раскладывала их в картонной коробке. Оба они рассчитывали прилечь до того, как пойти к заутрене, – в греческую церковь за углом... Хотелось молчать, думать о своем, говорить одними взглядами, особыми, словно рассеянными улыбками, о сыне, убитом в Крыму, о пасхальных мелочах, о домово́й церкви на Почтамтской, а тут эта болтливая сентиментальная старуха, с тревожными темно-серыми глазами, пришла, вздыхает, и так будет сидеть до того времени, пока они сами не выйдут из дому.

Жозефина замолкла: жадно мечтала о том, что, быть может, ее пригласят тоже пойти в церковь, а после – разговляться. Знала, что накануне Платоновы пекли куличи, и хотя есть она, конечно, не могла, слишком знобило, – но все равно, – было бы хорошо, тепло, празднично.

Платонов скрипнул зубами, сдерживая зевок, и украдкой взглянул себе на кисть, на циферблат под решеточкой. Жозефина поняла, что ее не позовут. Встала.

– Вам нужно немного отдыха, мои добрые друзья. Но до того, как уйти, я хочу вам сказать... – И, близко подойдя к Платонову, который встал тоже, – она звонко и фальшиво воскликнула: – Крестосе Воскресе!

Это была ее последняя надежда вызвать взрыв горячих сладких слез, пасхальных поцелуев, приглашенья разговеться вместе... Но Платонов только расправил плечи и спокойно засмеялся.

– Ну вот видите, Mademoiselle, вы прекрасно произносите по-русски...

Выйдя на улицу, она разрыдалась и шла, прижимая платок к глазам, слегка пошатываясь и постукивая по панели шелковой тростью зонтика. Небо было глубоко и тревожно: смутная луна, тучи как развалины. У освещенного кинематографа отражались в луже вывернутые ступни курчавого Чаплина. А когда Жозефина проходила под шумящими, плачущими деревьями вдоль озера, подобного стене тумана, то увидела: на краю небольшого мола жидко светится изумрудный фонарь, а в черную шляпку, что хлюпала внизу, влезает что-то большое, белое... Присмотрелась сквозь слезы: громадный старый лебедь топорщился, бил крылом и вот, неуклюжий как гусь, тяжело перевалился через борт; шляпка закачалась, зеленые круги хлынули по черной маслянистой воде, переходящей в туман.

Жозефина подумала – не пойти ли все-таки в церковь? Но так случилось, что в Петербурге она только бывала в красной кирке, в конце Морской улицы, и теперь в православный храм ходить было совестно, не знала, когда креститься, как складывать пальцы, – могли сделать замечание. Прохватывал озноб. В голове путались шелесты, чмокание деревьев, черные тучи – и воспоминанья пасхальные – горы разноцветных яиц, смуглый блеск Исакия... Туманная, оглушенная, она кое-как дотащилась до дому, поднялась по лестнице, стучаясь плечом о стену, – и потом, шатаясь, отбивая зубами дробь, стала раздеваться, ослабела, – и с блаженной, изумленной улыбкой повалилась на постель. Бред, бурный, могучий, как колокольное дыхание, овладел ею. Горы разноцветных яиц рассыпались с круглым чоканьем; не то солнце, не то баран из сливочного масла, с золотыми рогами, ввалился через окно и стал расти, жаркой желтизной заполнил всю комнату. А яйца взбегали, скатывались по блестящим дощечкам, стучались, трескалась скорлупа, – и на белке были малиновые подтеки...

Так пробредила она всю ночь, и только утром еще обиженная м-ль Финар вошла к ней – и ахнула, всполошилась, побежала за доктором:

– Крупозное воспаление в легком, Mademoiselle.

Сквозь волны бреда мелькали: цветы обоев, серебряные волосы старушки, спокойные глаза доктора, – мелькали и расплывались, – и снова взволнованный гул счастья обдавал душу, сказочно синело небо, как гигантское крашеное яйцо, бухали колокола, и входил кто-то, похожий не то на Платонова, не то на отца Элен, – и, входя, развертывал газету, клал ее на стол, а сам садился поодаль – поглядывал то на Жозефину, то на белые листы со значительной, скромной, слегка лукавой улыбкой. И Жозефина знала, что там, в этой газете, какая-то дивная весть, но не могла, не умела разобрать черный заголовок, русские буквы, – а гость все улыбался и поглядывал значительно, и казалось, что вот-вот он откроет ей тайну, утвердит счастье, что предчувствовала она, – но медленно таял человек, наплывало беспамятство – черная туча...

И потом опять запестрели бредовые сны, катилось ландо по набережной, Элен лакала с деревянной ложки горячую яркую краску, и широко сияла Нева, и Царь Петр вдруг спрыгнул с медного коня, разом опустившего оба копыта, и подошел к Жозефине, с улыбкой на бурном, зеленом лице, обнял ее – поцеловал в одну щеку, в другую, и губы были нежные, теплые – и

когда в третий раз он коснулся ее щеки, она со стоном счастья забилась, раскинула руки – и вдруг затихла.

Рано утром, на шестой день болезни, после кризиса, Жозефина Львовна очнулась. В окне светло мерцало белое небо, шел отвесный дождь, шелестел, журчал по желобам.

Мокрая ветка тянулась вдоль стекла, и лист на самом конце все вздрагивал под дождевыми ударами, нагибался, ронял с зеленого острия крупную каплю, вздрагивал опять, и опять скатывался влажный луч, свисала длинная светлая серьга, падала....

И Жозефине казалось, что дождевая прохлада течет по ее жилам, она не могла оторвать глаза от струящегося неба – и дышащий, млеющий дождь был так приятен, так умирительно вздрагивал лист, что захотелось ей смеяться, смех наполнил ее, – но еще был беззвучным, переливался по телу, щекотал небо – вот-вот вырвется сейчас...

Что-то зацарапало и вздохнуло, слева, в углу комнаты... Вся дрожь от смеха, растущего в ней, она отвела глаза от окна, повернула лицо: на полу ничком лежала старушка в черном платке, серебристые подстриженные волосы сердито тряслись, она ерзала, совала руку под шкаф, куда закатился клубок шерсти. Черная нить ползла из-под шкафа к стулу, где остались спицы и недовязанный чулок.

И увидя черную спицу м-ль Финар, ерзающие ноги, сапожки на пуговицах, – Жозефина выпустила прорывающийся смех, затряслась, воркуя и задыхаясь, под пуховиком своим, чувствуя, что воскресла, что вернулась издалека, из тумана счастья, чудес, пасхального великолепия.

Катастрофа

В зеркальную мглу улицы убежал последний трамвай, и над ним, по проволоке, с треском и трепетом стремилась вдаль бенгальская искра, лазурная звезда.

– Что ж, поплетемся пешком, хотя ты очень пьян, Марк, очень пьян...

Искра потухла. Крыши под луной лоснились: серебряные углы, косые провалы мрака.

Сквозь темный блеск шел он домой – Марк Штандфуус, приказчик, полубог, светловолосый Марк, счастливцев в высоком крахмальном воротнике. Над белой полоской, сзади, волосы кончались смешным неподстриженным хвостиком, как у мальчика. За этот хвостик Клара и полюбила его – да, клялась, что любит, что забыла стройного, нищего иностранца, снимавшего в прошлом году комнату у госпожи Гайзе, ее матери.

– И все-таки, Марк, ты пьян...

Сегодня друзья чествовали пивом и песнями Марка и рыжую, бледную Клару, а через неделю будет их свадьба, и потом до конца жизни – счастье и тишина, и ночью рыжий пожар, рассыпанный по подушке, а утром – опять тихий смех, зеленое платье, прохлада оголенных рук.

Посреди площади – черный вигвам, красный огонек: починяют рельсы. Он вспомнил, как сегодня целовал ее под короткий рукав, в тот трогательный след, что остался от прививки оспы. И теперь шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля, размахивая тонкой тростью, и в темных домах по той стороне пустынной улицы хлопало ночное эхо в такт его шагов, а потом смолкло, когда он повернул за угол, где у решетки стоял все тот же человек в переднике и картузе, продавец горячих сосисок, и высвистывал по-птичьи, нежно и грустно: «Вюрстхен... вюрстхен...»¹²

Марку стало сладостно жаль сосисок, луны, голубой искры, пробежавшей по проволоке, – и, прислонясь к забору, он весь сжался, напрягся и вдруг, помирая со смеху, выдул в круглую щелку: «Клара... Клара... о, Клара, моя милая...»

А за черным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь: там, что громадные гроба, стояли мебельные фургоны. Их раздуло от груза. Бог весть что было навалено в них. Дубовые баулы, верно, да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двухспальной кровати. Луна обдавала их крепким блеском. А слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские черные сердца – увеличенная во много раз тень липы, стоявшей близ фонаря на краю тротуара.

Марк все еще посмеивался, когда всходил по темной лестнице на пятый этаж. Вступив на последнюю ступеньку, он ошибся, поднял еще раз ногу – и опустил ее неловко, с грохотом. Пока он шарил в потемках по двери, отыскивая замочную скважину, бамбуковая тросточка выскочила из-под мышки и, легко постукивая, скользнула вниз, по ступенькам. Марк затаил дыханье. Думал, трость повернет там, где поворачивает лестница, и, постукивая, докатится до самого низу. Но тонкий деревянный звон внезапно замер. Остановилась, мол. Он облегченно усмехнулся и, держась за перила – пиво глухо пело в голове, – стал спускаться обратно, наклонился, чуть не упал, тяжело сел на ступень, шаря вокруг себя ладонями.

Наверху дверь на площадку открылась; госпожа Штандфуус – керосиновая лампа в руке, сама полуодетая, глаза мигающие, дым волос из-под чепца – вышла, позвала:

– Ты, Марк?

Желтый клин света захватил перила, ступени, трость, – и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся на площадку, а по стене поднялась за ним его черная, горбатая тень.

Потом, в полутемной комнате, перегородженной красной ширмой, был такой разговор:

¹² Сосиски (нем.).

– Ты слишком много пил, Марк...

– Ах нет, мама... Такое счастье...

– Ты перепачкался, Марк. У тебя ладонь черная...

– ...такое счастье... А, хорошо – холодная. Полей на макушку... Еще... Меня все поздравляли – да и есть с чем... Еще полей.

– Но, говорят, она так недавно любила другого... иностранца, проходимца какого-то. Пяти марок не доплатил госпоже Гайзе...

– Оставь... Ты ничего не понимаешь... Мы сегодня так много пели. Пуговица оторвалась, смотри... я думаю, мне удвоят жалованье, когда женюсь...

– Ложись, ложись... Весь грязный... новые штаны...

В эту ночь Марку приснился неприятный сон. Он увидел покойного отца. Отец подошел, со странной улыбкой на бледном, потном лице, и, схватив Марка под руки, стал молча и сильно щекотать его – не отпускал.

Только уже придя в магазин, вспомнил он этот сон, вспомнил оттого, что приятель, веселый Адольф, пальцем ткнул его в ребра. На миг в душе распахнулось что-то, удивленно застыло и захлопнулось опять. Опять стало легко и ясно, и галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались, сочувствовали его счастью. Он знал, что вечером увидит Клару, – вот только забежит домой поужинать, – а потом сразу к ней... На днях, когда он рассказывал ей о том, как они уютно и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. Конечно, Марк понял, что это слезы счастья, – так она и объяснила ему, – а потом закружилась по комнате, – юбка – зеленый парус, – и быстро-быстро стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы свои, цвета абрикосового варенья. И лицо было растерянное, бледное – тоже от счастья. Это ведь так понятно...

– В полоску? Извольте...

Он завязывал на руке галстук, поворачивал руку туда-сюда, соблазняя покупателя. Быстро открывал плоские картонные коробки...

А в это время у матери его сидела гостья, госпожа Гайзе. Она пришла ненароком, и лицо было заплаканное. Осторожно, словно боясь разбиться, опустилась на табурет в крохотной, чистенькой кухне, где госпожа Штандфусс мыла тарелки. На стене висела плоская деревянная свинья, и спичечная коробка с одной обгорелой спичкой валялась на плите.

– Я пришла к вам с дурной вестью, госпожа Штандфусс.

Та замерла, прижав к груди тарелку.

– Это насчет Клары. Вот. Она сегодня как безумная. Вернулся тот жилец, – помните, рассказывала? И Клара потеряла голову. Да, сегодня утром... Она не хочет больше никогда видеть вашего сына... Вы ей подарили материю на платье, будет возвращено. И вот – письмо для Марка. Клара с ума сошла. Я не знаю...

А Марк, кончив службу, уже шел восвояси, и ежом остриженный Адольф проводил его до самого дома. Оба остановились, пожали друг другу руки, и Марк плечом толкнул дверь в прохладную пустоту.

– Куда ты? Плюнь... вместе закусим где-нибудь.

Адольф лениво оперлся на трость, как на хвост.

– Плюнь, Марк...

Тот нерешительно потер щеку, потом засмеялся...

– Хорошо... Но платить буду я.

Когда полчаса спустя он вышел из пивной и распрощался с приятелем, огненный закат млеял в пролете канала, и влажный мост вдали был окаймлен тонкой золотой чертой, по которой проходили черные фигурки.

Посмотрев на часы, он решил не заходить домой, а прямо ехать к невесте. От счастья, от вечерней прозрачности чуть кружилась голова. Оранжевая стрела проткнула лакированный башмак какого-то франта, выскочившего из автомобиля. Еще не высохшие лужи, окруженные

темными подтеками, – живые глаза асфальта – отражали нежный вечерний пожар. Дома были серые, как всегда, но зато крыши, лепка над верхними этажами, золотые громоотводы, каменные купола, столбики, – которых днем не замечаешь, так как люди днем редко глядят вверх, – были теперь омыты ярким охряным блеском, воздушной теплотой вечерней зари, и оттого волшебными, неожиданными казались эти верхние выступы, балконы, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой яркостью своей от тусклых фасадов внизу.

«О, как я счастлив, – думал Марк, – как все чувствует мое счастье».

Сидя в трамвае, он мягко, с любовью разглядывал своих спутников. Лицо у него было такое молодое, с розовыми прыщиками на подбородке, счастливые, светлые глаза, неподстриженный хвостик в лунке затылка... Казалось, судьба могла бы его пощадить.

«Я сейчас увижу Клару, – думал он. – Она встретит меня у порога. Скажет, что весь день скучала без меня, едва дожидая до вечера».

Встрепенулся. Проехал остановку, где должен был слезть. По пути к площадке споткнулся о ноги толстого человека, читавшего медицинский журнал; хотел приподнять шляпу и чуть не упал – трамвай с визгом поворачивал. Удержался за висячий ремень. Господин медленно втянул короткие ноги, сердито и жирно заурчал. Усы у него были седые, воинственно загнутые кверху. Марк виновато улыбнулся и вышел на площадку. Схватился обеими руками за железные поручни, подался вперед, рассчитывая прыжок. Внизу гладким, блестящим потоком стремился асфальт. Марк спрыгнул. Обожгло подошвы, и ноги сами побежали, принужденно и звучно топая. Одновременно произошло несколько странных вещей... Кондуктор с площадки откачнувшегося трамвая яростно крикнул что-то, блестящий асфальт взмахнул, как доска качели, гремящая громада налетела сзади на Марка. Он почувствовал, словно толстая молния проткнула его с головы до пят, – а потом – ничего. Стоял один посреди лоснящегося асфальта. Огляделся. Увидел поодаль свою же фигуру, худую спину Марка Штандфусса, который, как ни в чем не бывало, шел наискось через улицу. Дивясь, одним легким движением он догнал самого себя, и вот уже сам шел к панели, весь полный остывающего звона.

– Тоже... чуть не попал под омнибус...

Улица была широкая и веселая. Полнеба охватил закат. Верхние ярусы и крыши домов были дивно озарены. Там, в вышине, Марк различал сквозные портики, фризы и фрески, шпалеры оранжевых роз, крылатые статуи, поднимающие к небу золотые, нестерпимо горячие лиры. Волнуясь и блистая, празднично и воздушно уходила в небесную даль вся эта зодческая прелесть, и Марк не мог понять, как раньше не замечал он этих галерей, этих храмов, повисших в вышине.

Больно ударился коленом. Черный знакомый забор. Рассмеялся: ах, конечно – фургоны... Стояли они как громадные гроба. Что же скрыто в них? Сокровища, костяки великанов? Пыльные груды пышной мебели?

– Нет, надо посмотреть... А то Клара спросит, а я не буду знать...

Он быстро толкнул дверь фургона, вошел. Пусто. Только посередине косо стоит на трех ножках маленький соломенный стул, одинокий и смешной.

Марк пожал плечами и вышел с другой стороны. Снова хлынул в глаза жаркий вечерний блеск. И впереди знакомая чугунная калитка, и дальше окно Клары, пересеченное зеленой веткой. Клара сама открыла калитку, подняла оголенные локти – и ждала, оправляя прическу. Рыжий пух сквозил в солнечных проймах коротких рукавов.

Марк, беззвучно смеясь, с разбегу обнял ее, прижался щекой к теплому, зеленому шелку. Ее ладони легли ему на голову.

– Я весь день так скучала, Марк. И вот теперь ты пришел.

Она отворила дверь, и Марк сразу очутился в столовой, показавшейся ему необыкновенно просторной и светлой.

– Мы так счастливы теперь, что мы можем обойтись без прихожей, – горячо зашептала Клара, и он почувствовал какой-то особый чудесный смысл в ее словах.

А в столовой, вокруг снежного овала скатерти, сидело множество людей, которых Марк никогда еще не встречал у своей невесты. Среди них был Адольф, смуглый, с квадратной головой; был и тот коротконогий, пузатый, все еще урчащий человек, читавший медицинский журнал в трамвае.

Застенчиво поклонившись всем, он сел рядом с Кларой – и в тот же миг почувствовал, как давеча, удар неистойвой боли, прокатившей по всему телу. Рванулся он, – и зеленое платье Клары поплыло, уменьшилось, превратилось в зеленый стеклянный колпак лампы. Лампа качалась на висячем шнуре. А сам Марк лежал под нею, и такая грузная боль давила на грудь, такая боль – и ничего не видать, кроме зыбкой лампы, – и в сердце упираются ребра, мешают вздохнуть, – и кто-то, перегнув ему ногу, ломает ее, натужился, сейчас хрястнет. Он рванулся опять – лампа расплылась зеленым сиянием, и Марк увидел себя самого, поодаль, сидящего рядом с Кларой, – и не успел увидеть, как уже сам касался коленом ее теплой шелковой юбки. И Клара смеялась, закинув голову.

Он захотел рассказать, что сейчас произошло, и, обращаясь ко всем присутствующим, к веселому Адольфу, к сердитому толстяку, с трудом проговорил:

– Иностранец на реке совершает вышеуказанные молитвы...

Ему показалось, что он все объяснил, и, видимо, все поняли... Клара, чуть надув губы, потрепала его по щеке:

– Мой бедный... Ничего...

Он почувствовал, что устал, хочет спать. Обнял Клару за шею, притянул, откинулся назад. И тогда опять хлынула боль, и все стало ясно.

Марк лежал забинтованный, исковерканный, лампа не качалась больше. Знакомый уса-тый толстяк, доктор в белом балахоне, растерянно урча, заглядывал ему в зрачки. И какая боль... Господи, сердце вот-вот наткнется на ребра и лопнет... Господи, сейчас... Это глупо. Почему нет Клары...

Доктор поморщился и щелкнул языком.

А Марк уже не дышал, Марк ушел, – в какие сны – неизвестно.

Гроза

На углу, под шатром цветущей липы, обдало меня буйным благоуханием. Туманные громады поднимались по ночному небу, и когда поглощен был последний звездный просвет, слепой ветер, закрыв лицо рукавами, низко пронесся вдоль опустевшей улицы. В тусклой темноте, над железным ставнем парикмахерской, маятником заходил висячий щит, золотое блюдо.

Вернувшись домой, я застал ветер уже в комнате: он хлопнул оконной рамой и поспешно отхлынул, когда я прикрыл за собою дверь. Внизу, под окном, был глубокий двор, где днем сияли, сквозь кусты сирени, рубашки, распятые на светлых веревках, и откуда взлетали порой, печальным лаем, голоса – старьевщиков, закупателей пустых бутылок, – нет-нет – разрыдается искалеченная скрипка; и однажды пришла тучная белокурая женщина, стала посреди двора, да так хорошо запела, что из всех окон свесились горничные, нагнулись голые шеи, – и потом, когда женщина кончила петь, стало необыкновенно тихо, – только в коридоре всхлипывала и сморкалась неопрятная вдова, у которой я снимал комнату.

А теперь там, внизу, набухала душная мгла, – но вот слепой ветер, что беспомощно сполз в глубину, снова потянулся вверх, – и вдруг – прозрел, взмыл, и в янтарных провалах в черной стене напротив заметались тени рук, волос, ловили улетающие рамы, звонко и крепко запирали окна. Окна погасли. И тотчас же в темно-лиловом небе тронулась, покатила глухая гряда, отдаленный гром. И стало тихо, как тогда, когда замолкла нищая, прижав руки к полной груди.

В этой тишине я заснул, ослабев от счастья, о котором писать не умею, – и сон мой был полон тобой.

Проснулся я оттого, что ночь рушилась. Дикое, бледное блистание летало по небу, как быстрый отсвет исполинских спиц. Грохот за грохотом ломал небо. Широко и шумно шел дождь.

Меня опьянили эти синеватые содрогания, легкий и острый холод. Я стал у мокрого подоконника, вдыхая неземной воздух, от которого сердце звенело, как стекло.

Все ближе, все великолепнее гремела по облакам колесница пророка. Светом сумасшествия, пронзительных видений озарен был ночной мир, железные склоны крыш, бегущие кусты сирени. Громовержец, седой исполин, с бурной бородою, закинутой ветром за плечо, в ослепительном, летучем облачении, стоял, подавшись назад, на огненной колеснице и напряженными руками сдерживал гигантских коней своих: вороная масть, гривы – фиолетовый пожар. Они понесли, они брызгали трескучей искристой пеной, колесница кренилась, тщетно рвал вожжи растерянный пророк. Лицо его было искажено ветром и напряжением, вихрь, откинув складки, обнажил могучее колено, – а кони, взмахивая пылающими гривами, летели – все буйственнее – вниз по тучам, вниз. Вот громовым шепотом промчались они по блестящей крыше, колесницу шарахнуло, зашатался Илья, – и кони, обезумев от прикосновения земного металла, снова вспрыгнули. Пророк был сброшен. Одно колесо отшибло. Я видел из своего окна, как покатился вниз по крыше громадный огненный обод и, покачнувшись на краю, прыгнул в сумрак. А кони, влача за собою опрокинутую, прыгающую колесницу, уже летели по вышним тучам, гул умолкал, и вот – грозовой огонь исчез в лиловых безднах.

Громовержец, павший на крышу, грузно встал, плесницы его заскользили, – он ногой пробил слуховое окошко, охнул, широким движением руки удержался за трубу. Медленно поворачивая потемневшее лицо, он что-то искал глазами, – верно, колесо, соскочившее с золотой оси. Потом глянул вверх, вцепившись пальцами в растрепанную бороду, сердито покачал головой, – это случалось, вероятно, не впервые, – и, прихрамывая, стал осторожно спускаться.

Оторвавшись от окна, спеша и волнуясь, я накинул халат и сбежал по крутой лестнице прямо во двор. Гроза отлетела, но еще веял дождь. Восток дивно бледнел.

Двор, что сверху казался налитым густым сумраком, был на самом деле полон тонким, тающим туманом. Посередине, на тусклом от сырости газоне, стоял сутулый, тощий старик в промокшей рясе и бормотал что-то, поглядывая по сторонам. Заметив меня, он сердито моргнул:

– Ты, Елисей?

Я поклонился. Пророк цокнул языком, потирая ладонью смуглую лысину:

– Колесо потерял. Отыщи-ка.

Дождь перестал. Над крышами пылали громадные облака. Кругом, в синеватом, сонном воздухе, плавали кусты, забор, блестящая собачья конура. Долго шарили мы по углам, – старик кряхтел, подхватывая тяжелый подол, шлепал тупыми сандалиями по лужам, и с кончика крупного костистого носа свисала светлая капля. Отодвинув низкую ветку сирени, я заметил на куче сору, среди битого стекла, тонкое железное колесо, – видимо, от детской коляски. Старик жарко дохнул над самым моим ухом и, поспешно, даже грубовато отстранив меня, схватил и поднял ржавый круг. Радостно подмигнул мне:

– Вот куда закатилось...

Потом на меня уставился, сдвинув седые брови, – и, словно что-то вспомнив, внушительно сказал:

– Отвернись, Елисей.

Я послушался. Даже зажмурился. Постоял так с минуту, – и дольше не выдержал...

Пустой двор. Только старая лохматая собака с поседелой мордой вытянулась из конуры и, как человек, глядела вверх испуганными карими глазами. Я поднял голову. Илья карабкался вверх по крыше, и железный обод поблескивал у него за спиной. Над черными трубами оранжевой кудрявой горой стояло заревое облако, за ним второе, третье. Мы глядели вместе с притихшей собакой, как пророк, поднявшись до гребня крыши, спокойно и неторопливо перебрался на облако и стал лезть вверх, тяжело ступая по рыхлому огню.

Солнце стрельнуло в его колесо, и оно сразу стало золотым, громадным, – да и сам Илья казался теперь облаченным в пламя, сливаясь с той райской тучей, по которой он шел все выше, все выше, пока не исчез в пылающем воздушном ущелье.

Только тогда хриплым утренним лаем залился дряхлый пес, – и хлынула рябь по яркой глади дождевой лужи; от легкого ветра колыхнулась пунцовая герань на балконах, проснулись два-три окна, – и в промокших клетчатых туфлях, в блеклом халате я выбежал на улицу и, догоняя первый, сонный трамвай, запахивая полы на бегу, все посмеивался, воображая, как сейчас приду к тебе и буду рассказывать о ночном воздушном крушении, о старом, сердитом пророке, упавшем ко мне во двор.

Наташа

1

На лестнице Наташа встретила соседа по комнате, барона Вольфа: поднимаясь тяжело по голым деревянным ступеням, он ладонью гладил перила и сквозь зубы посвистывал.

– Куда бежите, Наташа?

– В аптеку. Рецепт несу. Только что был доктор. Папе лучше.

– А! Вот это приятно...

Она мелькнула мимо, в шелестящем макинтоше, без шляпы.

Вольф посмотрел ей вслед, перегнувшись через перило: на миг увидел сверху ее гладкий девический пробор. Продолжая посвистывать, он поднялся на верхний этаж, бросил мокрый от дождя портфель на кровать, крепко, с удовольствием вымыл и вытер руки. Потом постучался к старику Хренову.

Хренов жил через коридор, в одной комнате с дочерью, причем Наташа спала на диване; в диване были удивительные пружины, перекатывающиеся и вздувающиеся металлическими кочками сквозь дряблый плюш. Был еще стол, некрашенный, покрытый газетой в чернильных пятнах. На нем валялись папиросные гильзы. Больной Хренов, маленький тощий старик в рубахе до пят, со скрипом юркнул обратно в постель и поднял на себя простынь, когда в дверь просунулась большая бритая голова Вольфа.

– Пожалуйста, очень рад, входите.

Старик трудно дышал, и дверца ночного столика осталась полуоткрытой.

– Говорят, совсем поправляетесь, Алексей Иваныч, – сказал барон Вольф, усевшись у постели и хлопнув себя по коленям.

Хренов подал желтую, липкую руку, покачал головой:

– Мало ли что говорят... Я-то отлично знаю, что...

Он издал губами лопающийся звук.

– Ерунда, – весело отрезал <Вольф> и вынул из заднего кармана громадный серебряный портсигар. – Курить можно?

Он долго возился с зажигалкой, щелкая зубчатым винтом. Хренов прикрыл глаза: веки у него были синеватые, как лягушачьи пленки. Седая щетина облипала острый подбородок.

Он сказал, не открывая глаз:

– Так оно и будет. Двух сыновей убили, выкинули меня с Наташей из родного гнезда – теперь изволь помирать в чужом городе. Какая, в общем, глупость.

Вольф заговорил громко и отчетливо. Он говорил о том, что жить еще, слава Богу, Хренов будет долго, что в Россию все вернутся к весне с журавлями, и тут же рассказал случай из своего прошлого.

– Это было во время моих скитаний по Конго, – говорил он, и его крупная, склонная к полноте фигура слегка раскачивалась. – Да, в далеком Конго, дорогой мой Алексей Иваныч, в таких, знаете, дебрях... Представьте себе лесную деревню, черных женщин с длинными грудями – и между хижин, черных, как каракуль, – блеск воды. Там под исполинским деревом – зовется оно кируко – оранжевые плоды, как резиновые мячики, и ночью, в стволе, как бы шум моря. Была у меня долгая беседа с местным царьком. Переводчиком был один бельгийский инженер – тоже любопытный человек. Клялся, между прочим, что в 1895 году видел в болотах неподалеку от Танганьики ихтиозавра. А царек был измалеван кобальтом, увешан кольцами, жирный, с животом как желе. И вот что оказалось... – Вольф, смакуя свой рассказ, улыбнулся, поглаживая голубую свою голову, и влажные глаза <его> стали задумчивы.

– Наташа вернулась, – тихо и твердо вставил Хренов, не поднимая век.

Вольф, мгновенно порозовев, оглянулся. Через мгновение где-то далеко звякнула задвижка входной двери, затем по коридору зашелестели шаги. Наташа вошла быстро, сияя глазами.

– Ну как, папочка?

Вольф встал и с притворной развязностью сказал:

– Отец ваш совершенно здоров, я не понимаю, отчего он лежит... Я собирался рассказать ему об одном африканском колдуне.

Наташа улыбнулась отцу и стала разворачивать лекарство.

– Дождь идет, – сказала она негромко. – Ужасно скверная погода.

Как это всегда бывает, другие посмотрели в окно. У Хренова при этом напряглась на шее сизая жила. Потом он снова откинул голову на подушки.

Наташа, надув губы, считала капли, и ее ресницы в такт мигали. Темные гладкие волосы были в бисере дождя, под глазами синели прелестные тени.

2

Вернувшись к себе, Вольф долго ходил по комнате, растерянно и счастливо улыбался, тяжело падал то в кресло, то на край постели, зачем-то отворил окно и поглядел в темный журчащий двор внизу. И наконец, судорожно пожав плечом, надел шляпу и вышел.

Старик Хренов, который сидел, скрючившись, на диване, пока Наташа поправляла ему на ночь постель, заметил без выражения, вполголоса:

– Вольф ушел ужинать.

Потом вздохнул и плотнее закутался в одеяло.

– Готово, – сказала Наташа. – Лезь обратно, папочка.

Кругом был вечерний мокрый город, черные потоки улиц, подвижные, блестящие купола зонтиков, огонь витрин, стекающий в асфальт. Вместе с дождем лилась ночь, наполняя глубокие дворы, дрожала в глазах тонконогих проституток, медленно гулявших взад и вперед на людных перекрестках. И где-то нави<сали?>, зажигались быстрой чередой круговые лампы рекламы, словно вращалось световое колесо.

К ночи у Хренова поднялась температура – градусник был теплый, живой, столбик ртути высоко влез по красной лесенке. Долго он бормотал что-то непонятное, кусая губы и покачивая головой, потом уснул. Наташа разделась при вялом пламени свечи. В темном стекле окна увидела свое отражение: бледную тонкую шею, темную косу, упавшую через ключицу. Так она постояла в нежно<м> оцепенении, и вдруг показалось ей, что комната, с диваном, со столом, усыпанным папиросными гильзами, с кроватью, на которой, открыв рот, беспокойно спит остроносый, потный старик, тронулась и вот плывет, как палуба, в черную ночь. Тогда она вздохнула, провела ладонью по голому теплому плечу и, легко уносимая головокружением, опустилась на диван. Потом, смутно улыбаясь, стала отворачивать, стягивая с ног, шелковые серые чулки, заплатанные во многих местах, – и опять поплыла комната, и казалось, что кто-то горячо дует ей в шею, в затылок. Она широко раскрыла глаза – длинные, темные, с голубоватым блеском на белках. Осенняя муха завертелась вокруг свечи и жужжащей черной горошинкой стукнулась об стену. Наташа медленно вползла под одеяло и вытянулась, ощущая, словно со стороны, теплоту своего тела, длинных ляжек, голых рук, закинутых под голову. Ей было лень потушить свечу, лень спугнуть шелковые мурашки, от которых невольно сжимались колени и закрывались глаза. Хренов тяжело охнул и поднял во сне одну руку. Рука упала как мертвая. Наташа привстала, подула на свечу. Разноцветные круги поплыли перед глазами.

«Удивительно мне хорошо», – подумала она и рассмеялась в подушку. Теперь она лежала, вся сложившись, и казалась себе самой необыкновенно маленькой, и в голове все мысли были,

как теплые искры, <они> мягко рассыпались, скользили. Только стала она засыпать, как дремоту ее расколол неистовый, гортанный крик.

– Папочка, папа, что такое?

Она пошарила по столу, зажгла свечку.

Хренов сидел на постели, бурно дышал, вцепившись пальцами в ворот рубашки. Несколько минут до того он проснулся – и замер от ужаса, приняв светящийся циферблат часов, лежащих рядом на стуле, за ружейное дуло, неподвижно направленное на него. Он ждал выстрела, не смел шевельнуться – а потом не выдержал – закричал. Теперь он смотрел на дочь, мигая, с дрожащей улыбкой.

– Папочка, успокойся, ничего...

Она, нежно шурша босыми ногами, оправила ему подушки, тронула липкий, холодный от поту лоб. Он с глубоким вздохом, все еще вздрагивая, отвернулся к стене, пробормотал:

– Всех, всех... Меня тоже... Это кошмарно... Нельзя.

И заснул, словно куда-то провалился.

Наташа снова легла – диван стал еще ухабистей, пружины давили то в бок, то в лопатки, но наконец она устроилась, поплыла в тот прерванный, невероятно милый сон, который она еще чувствовала, но уже не помнила. Потом, на рассвете, проснулась опять. Отец звал ее.

– Наташа, мне нехорошо... Дай попить.

Она, чуть пошатываясь спросонья, пронизанная синеватым рассветом, двинулась к раковине, зазвенела графином.

Хренов жадно и тяжело выпил. Сказал:

– Это ужасно, если я никогда не вернусь.

– Поспи, папочка, постарайся еще поспать.

Наташа накинула фланелевый халатик, присела у изножья отцовской постели.

Он повторил несколько раз: «Это ужасно». Потом испуганно улыбнулся.

– Мне все кажется, Наташа, что я иду через нашу деревню. Помнишь, там, у реки, где лесопильня. И трудно идти. Опилки, знаешь. Опилки и песок. Вязнут ноги. Щекотно. Вот мы когда-то ездили за границу...

Он наморщил лоб, с трудом следя за ходом спотыкающейся мысли...

Наташа вспомнила необыкновенно живо, какой он был тогда, светлую бородку вспомни<ла>, серые замшевые перчатки, клетчатое дорожное кепи, чем-то напоминавшее резиновый мешок для губки, – и вдруг почувствовала, что сейчас заплачет.

– Да. Вот, значит, как, – безучастно протянул Хренов, глядя в туман рассвета.

– Поспи еще, папочка. Я все помню...

Он неловко отпил воды, потер руками лицо, откинулся на подушки.

Во дворе судорожно и сладостно кричал петух...

3

Когда утром, около одиннадцати, Вольф постучал к Хреновым, в комнате испуганно звякнула посуда, пролился Наташин смех – и через мгновение она выскользнула в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь.

– Я так рада – папе сегодня куда лучше.

Она была в белой блузке, в бежевой юбке с пуговиц<ами> вдоль бедра. Длинные блестящие глаза ее были счастливы.

– Страшно беспокойная ночь, – продолжала быстро Наташа, – а теперь он совсем свежий, температура нормальная. Решил даже встать. Сейчас умыла его.

– Сегодня – солнце, – сказал Вольф таинственно. – Я не пошел на службу...

Они стояли в полутемном коридоре, прислонившись к стене, и не знали, о чем еще говорить.

– Знаете что, Наташа, – вдруг решился Вольф, отталкиваясь широкой мягкой спиной от стены и глубоко засунув руки в карманы серых мятых штанов. – Давайте поедим сегодня за город. К шести будем дома. А?

Наташа стояла, тоже <прижимаясь> к стене плечом и тоже слегка отталкиваясь.

– Как же я оставлю папу? Впрочем...

Вольф вдруг повеселел.

– Наташа, милая, ну пожалуйста... Ведь ваш батюшка сегодня здоров. Да и хозяйка рядо<м>, если что нужно...

– Да, это правда, – протянула Наташа. – Я ему скажу.

И, плеснув юбкой, повернула обратно в комнату.

Хренов, одетый, но без воротничков, слабо шарил по столу <руками>.

– Ты, Наташа, вчера газеты забыла купить. Эх ты...

Наташа повозилась со спиртовкой, заварила чай.

– Папочка, я сегодня хочу поехать за город, Вольф предложил.

– Душенька, конечно, поезжай, – сказал Хренов, и синие белк<и> глаз его налились слезами. – Мне, право, сегодня лучше. Только слабость идиотская...

Когда Наташа ушла, он опять медленно зашарил по комнате, все ища чего-то... Попробовал отодвинуть диван – тихо крякал. Потом заглянул под него – лег ничком на пол, да так и остался, голова тошно закружилась. Медле<нно>, с усилием встав опять на ноги, он дотаци<лся> до постели, лег... И снова ему показалось, что он идет через какой-то мост, шумит лесопильня, плывут желтые стволы и ноги глубоко вязнут в сырых опилках, и прохладный ветер с реки дует, прохватывает насквозь...

4

– Путешествия, да... Ах, Наташа, я иногда чувствовал себя богом. Я видел на Цейлоне Дворец Теней и дробью бил крохотных изумрудных птиц на Мадагаскаре. Туземцы тамошние носят ожерелья из позвонков и странно так поют, ночью, на взморье. Словно музыкальные шакалы. Я жил в палатке неподалеку от Таматавы, где по утрам земля красная, а море – темно-синее. Я не могу описать вам это море.

Вольф замолк, тихо подкидывая сосновую шишку. Потом провел пухлой ладонью по лицу<у> сверху вниз и рассмеялся.

– А вот теперь я – нищий, застрял в самом неудачном из всех европейских городов, день-деньской, как тюря, сижу в конторе, вечером жую хлеб с колбасой в шоферском кабаке. А было время...

Наташа лежала навзничь, раскинув локти, и смотрела, как озаренные вершины сосен тихо ходят в бледно-бирюзовой вышине. Она вглядывалась в это небо, и тогда кружились, мерцали, сыпались ей в глаза светлые точки. А по временам что-то перелетало с сосны на сосну – золотая судорога. Рядом, у скрещенных ног ее, сидел барон Вольф, в просторном своем сером костюме, и, нагнув бритую голову, все подкидывал сухую шишку.

Наташа вздохнула.

– В Средние века, – сказала она, глядя на верхушки сосен, – меня бы сожгли или бы приобщили к святым. У меня бывают странные ощущения. Вроде экстаза. Я тогда – совсем легкая, и плыву куда-то, и все понимаю – жизнь, смерть, все... Раз, когда мне было лет десять, я сидела в столовой и рисовала что-то. Потом я устала и задумалась. И вдруг очень поспешно вошла женщина, босая, в синих блеклых одеждах, с большим, тяжелым животом, а лицо худое, маленькое, желтое, с необыкновенно ласковыми, необыкновенно таинственными глазами...

Прошла поспешно женщина, не взглянув на меня, прошла и скрылась в соседней комнате. Я не испугалась, почему-то подумала, что она пришла мыть полы. Эту женщину я никогда больше не встречала – но знаете, кто это была... Богоматерь.

Вольф улыбнулся.

– Почему вы так думаете, Наташа?

– Я знаю. Она мне приснилась потом, через пять лет, – и держала ребенка, а у ног ее сидели, облокотившись, херувимы – совсем как у Рафаэля – но живые. И кроме того, у меня бывают другие – маленькие, совсем маленькие видения. Когда в Москве забрали отца и я осталась одна в доме, то такая вещь случилась: на письменном столе был медный колоколец, из тех, которые подвешивают коровам в Тироле. И вдруг он поднялся на воздух, зазвенел и упал. Такого дивного чистого звука я никогда...

Вольф странно посмотрел на нее. Потом далеко кинул шишку и проговорил холодным, глухим голосом:

– Мне нужно вам сказать кое-что, Наташа. Вот: ни в Африке, ни в Индии я никогда не бывал. Это все вранье. Мне сейчас под тридцать, но кроме двух-трех русских городов, дюжины деревень да вот этой глупой страны я ничего не видал. Простите меня.

Он уныло улыбнулся. Ему вдруг стало нестерпимо жаль громадных своих фантазий, которыми он с детства жил.

Было сухо и тепло по-осеннему. Сосны чуть скрипели, качались золотистые их верхушки.

– Муравьи, – сказала Наташа, привстав и похлопывая себя по юбке, по чулкам. – Мы сидели на муравьях.

– Вы меня очень презираете? – спросил Вольф.

Она рассмеялась.

– Глупости какие. Ведь мы с вами квиты. Все то, <что> я говорила вам об экстазе, о Богоматери, о колокольчике, – все это тоже фантазия. Я это как-то придумала, и потом, конечно, мне казалось, что так было на самом деле...

– Вот именно, – сказал Вольф, просияв.

– Расскажите еще что-нибудь из ваших путешествий, – деловито, без лукавства попросила Наташа.

Вольф привычным движением вынул свой солидный портсигар.

– К вашим услугам. Однажды, когда я плыл на шхуне из Борнео к Суматре...

5

Мягкий скат шел к озеру. Столбики деревянной пристани серыми спиралями отражались в воде. За озером были те же темные сосновые леса – но кое-где просвечивал белый ствол, желтый дымок: березка. По темно-бирюзовой воде плыли отблески облаков – и Наташе вдруг показалось, что они в России, что нельзя быть вне России, когда такое горячее счастье сжимает горло, – а счастлива была она потому, что Вольф говорит такие великолепные глупости, мечет, ухая, плоские камешки, которые, как по волшебству, скользят и скачут по воде. В этот будний день никого людей не видно было – только изредка доносились облачки восклицаний и смеха, а по озеру реяло белое крыло, парус яхты.

Они долго шли берегом, взбегали на скользкие скаты, отыскивали тропинку, где черной сыростью пахло от кустов орешника. Немного дальше, у самой воды, был кафе – совершенно пустынный, даже ни прислуги, ни посетителей, словно где-то случился пожар и все побежали смотреть, унося с собою свои кружки и тарелки. Вольф и Наташа обошли его кругом. Потом сели за пустой столик и притворились, что пьют и едят, что играет оркестр. И пока они так шутили, Наташе вдруг отчетливо послышалось, что действительно звучит оранжевая духовая музыка, и тогда она с таинственной улыбкой встрепенулась, побежала вдоль берега, и барон

Вольф тяжело и мягко метнулся следом за ней, крича: «Подождите, Наташа, мы же не расплатились!»

Потом они нашли яблочно-зеленую поляну, отороченную осокой, сквозь которую жидким золотом горела на солнце вода, и Наташа, жмурясь и раздувая ноздри, повторила несколько раз:

– Боже мой, как хорошо...

Вольф обиделся на эхо, которое не откликалось, и замолк, и в это воздушное солнечное мгновение у широкого озера какая-то грусть пролетела, как певучий жук...

Наташа поморщилась и сказала:

– Мне почему-то кажется, что папе опять хуже. Может быть, я напрасно оставила его.

Вольф вспомнил худые, лоснистые, в седой щетине ноги старика, когда тот вскакивал обратно в постель. Подумал: «А вдруг он как раз сегодня и умрет?» Громко и бодро сказал:

– Да что вы, Наташа, он теперь здоров.

– Я тоже так думаю, – проговорила она и повеселела снова.

Вольф скинул пиджак: от его плотного тела в полосатой рубашке пахло мягким жаром, и шел он совсем рядом с Наташей; она глядела прямо перед собой, и приятно было чувствовать эту теплоту, что шагает рядом.

– Как мечтаю, ах, как мечтаю, Наташа, – говорил он, взмахивая свистящим прутиком. – И ведь разве я лгу, когда я выдаю фантазии мои за правду? Приятель был у меня, он прослужил три года в Бомбее. Бомбей? Господи! Музыка географического названия. В одном этом слове есть что-то гигантское, солнечные бомбы, барабаны. Но представьте себе, Наташа, этот мой приятель ничего не мог рассказать, ничего не помнил, кроме служебных дрязг, жары, лихорадки да жены какого-то британского полковника. Кто же из нас двоих действительно побывал в Индии... Разумеется, я... Бомбей, Сингапур... Вот я, например, помню...

Наташа шла у самой воды, так что детские волны озера всплескивали к ее ногам. Где-то за лесом, как по струне, прошел поезд – и оба прислушались. День стал чуть золотистее, чуть мягче, и посинели леса по той стороне озера.

У вокзала Вольф купил бумажный мешок со сливами, но они оказались кислыми. Сидя в поезде, в пустом деревянном отделении, он ежеминутно выбрасывал их из окна – и все жалел, что не украл где-нибудь в кафе тех картонных кружков, на которые ставят кружки с пивом.

– Они так хорошо летят, Наташа. Как птица. Просто прелесть.

Наташа устала; она жмурилась, и тогда снова, как ночью, обхватывало и поднимало ее чувство головокружительной легкости.

– Когда я буду рассказывать папе о нашей прогулке, – сказала она, – не перебивайте и не поправляйте меня. Я буду, вероятно, говорить о том, чего мы не видели вовсе, – о всяких маленьких чудесах. Он поймет.

Приехав обратно в город, они пошли домой пешком. Барон Вольф как-то присмирел – и морщился от хищных звуков автомобильных гудков. А Наташа шла, как на парусах, – словно усталость ее поднимала, окрыляла ее, делала ее невесомой – и Вольф ей казался весь синим, как вечер. За один квартал до дома Вольф вдруг остановился. Наташа легко пролетела вперед. Потом стала тоже. Обернулась. Вольф, подняв плечи и глубоко засунув руки в карманы просторных штанов, согнув по-бычьей голубую голову свою, – сказал: «Вниманье, Наташа». Он посмотрел вбок и сказал, что любит <ее>. Тотчас же повернулся, быстро пошел от нее и с деловитым видом завернул в табачную лавку.

Наташа постояла немного, словно повиснув в воздухе, и потом тихо пошла к дому. «И это я скажу отцу», – подумала она, двигаясь вперед в каком-то синем тумане счастья, среди которого фонари зажигались, как драгоценные камни. Она почувствовала, что слабеет, что по спине скользят тихие горячие волны. Когда она очутилась у своего дома, она увидела, как ее отец в черном пиджаке, прикрыв одной рукой отсутствие воротничка и в другой раскачивая

дверные ключи, торопливо вышел и направился, чуть горбясь в тумане вечера, к будке газетчицы.

– Папочка, – позвала она и пошла за ним. Он остановился на краю панели и глянул со знакомой, чуть лукавой улыбкой, нагнув голову набок, – совсем седой петушок.

– Ах, ты не должен выходить, – сказала Наташа.

Отец ее нагнул голову в другую сторону и очень тихо, очень взволнованно сказал:

– Душенька, сегодня в газете есть что-то изумительное. Только вот я деньги забыл. Сбегай за ними наверх. Я подожду.

Она толкнула дверь, сердясь на отца и вместе с тем радуясь, что он такой бодрый. По лестнице она поднялась быстро, воздушно, как во сне. Вошла в коридор. Торопилась. «Он там еще простудится, ожидая меня».

Коридор почему-то был освещен. Наташа подошла к своей двери и одновременно услышала за ней свист тихих голосов. Быстро отворила. На столе стояла керосиновая лампа и сильно коптила. Хозяйка, горничная, какой-то незнакомый человек загораживали постель. Все обернулись, когда Наташа вошла, и хозяйка, охнув, хлынула к ней...

Только тогда Наташа заметила, что на постели лежит отец – совсем не такой, каким она видела его только что: маленький мертвый старик с восковым носом.

Венецианка

I

Перед красным замком, среди великолепных ильмов, зеленела муравчатая площадка. Рано утром садовник прогладил ее каменным катком, истребил две-три маргаритки и, наново расчертив газон жидком мелом, крепко натянул между двух столбов новую упругую сетку. Из ближнего городка дворецкий привез картонную коробку, в которой покоилась дюжина белых как снег, матовых на ощупь, еще легких, еще девственных мячей, завернутых, каждый отдельно, как дорогие плоды, в листы прозрачной бумаги.

Было часов пять пополудни; спелый солнечный свет дремал тут и там на траве, на стволах, сочился сквозь листья и благодушно обливал ожившую площадку. Играли четверо: сам полковник – хозяин замка, госпожа Магор, хозяйский сын Франк и университетский приятель его Симпсон.

Движения человека во время игры, точно так же, как почерк его во время покоя, рассказывают о нем немало. Судя по тупым, стянутым ударам полковника, по напряженному выражению его мясистого лица – только что выплунувшего, казалось, те седые тяжелые усы, что громоздились у него над губой; судя по тому, что ворот рубашки он, несмотря на жару, не расстегивал и подавал мяч, плотно расставив белые столбы ног, – можно было заключить, что, во-первых, он никогда хорошо не играл, и что, во-вторых, человек он степенный, старомодный, упорный, изредка подверженный шипучим вспышкам гнева: так, забив мяч в рододендроны, он выдыхал сквозь зубы краткое проклятие или же тарачил рыбы глаза на свою ракету, словно не в силах простить ей такой оскорбительный промах.

Случайный помощник его, Симпсон, тощий, рыжеватый юноша с кроткими, но безумными глазами, бьющимися и блестящими за стеклами пенсне, как слабые голубые бабочки, старался играть как можно лучше, хотя полковник, разумеется, никогда не выражал своей досады, когда потеря очка происходила по вине партнера. Но как ни старался Симпсон, как ни прыгал, ему ничего не удавалось: он чувствовал, что расползается по швам, что робость мешает ему метко бить и что в руке он держит – не орудие игры, тонко и вдумчиво составленное из янтарных звонких жил, натянутых на прекрасно вычисленную оправу, а неуклюжее сухое полено, от которого мяч отмигивает с болезненным треском, попадая то в сетку, то в кусты и норovia даже сшибить соломенную шляпу с круглой плечи господина Магора, стоявшего в стороне от площадки и глядевшего без особого любопытства, как побеждают вспотевших противников молодая жена его Морийн и легкий, ловкий Франк.

Если бы Магор – старый знаток живописи и реставратор, паркетатор, рантуалатор еще более старых картин, видевший мир как довольно скверный этюд, непрочными красками написанный на тленном полотне, – был бы тем любопытным и беспристрастным зрителем, которого иной раз так удобно бывает привлечь, то он мог бы заключить, конечно, что высокая, темноволосая, веселая Морийн так же беспечно живет, как играет, и что Франк вносит в жизнь это умение с плавной легкостью вернуть самый трудный мяч. Но как и почерк часто обманывает хироманта своей поверхностной простотой, так и теперь игра этой белой четы на самом деле ничего другого не открывала, как только то, что Морийн играет по-женски, без усердия, слабо и мягко, меж тем как Франк старается не слишком крепко лупить, помня, что он не на университетском состязании, а у отца в саду. Он мягко шел навстречу мячу, и длинный удар доставлял ему физическое наслаждение: всякое движение стремится к полному кругу, и хотя оно на полпути и преобразуется в правильный полет мяча, однако это незримое продолжение мгновенно ощущается в руке, пробегает по мышцам до самого плеча, – и вот именно в этой

длинной внутренней искре – наслаждение удара. С бесстрастной улыбкой на бритом загорелом лице, ослепительно скаля сплошные зубы, Франк поднимался на носки и без видимого усилия двигал обнаженной по локоть рукой: в этом широком взмахе была электрическая сила, и с особенно точным и тугим звоном отскакивал мяч от ракетных струн.

Утром он вместе с приятелем приехал сюда к отцу на каникулы и нашел здесь уже знакомого ему господина Магора с женой, гостивших в замке уже больше месяца; ибо полковник, плывавший к картинам благородной страстью, охотно прощал Магору его иностранное происхождение, необщительность и отсутствие юмора за ту помощь, которую оказывал ему знаменитый картоновед, за те восхитительные, бесценные полотна, которые он ему доставлял. И особенно восхитительно было последнее приобретение полковника, портрет женщины работы Лучиано, проданный Магором за очень пышную цену.

Сегодня Магор, по настоянию жены, знавшей щепетильность полковника, надел бледный летний костюм – вместо черного сюртука, который он обычно носил, – но хозяину он все-таки не угодил: рубашка на нем была крахмальная с жемчужными пуговицами, а это было, конечно, неприлично. Не особенно приличны были и красно-желтые полусапожки, отсутствие на концах панталон того кругового загиба, который мгновенно ввел в моду покойный король, принужденный однажды перейти дорогу по лужам, – и не особенно изящно выглядела старая, будто обгрызанная соломенная шляпа, из-под которой сзади выбивались седые кудри Магора. Лицо у него было несколько обезьянье, с выпученным ртом, с длинным надгубием и с целой сложной системой морщин, так что, пожалуй, по лицу его можно было погадать, как по ладони. Пока он следил за перелетами мяча, его маленькие зеленоватые глазки бегали справа налево и опять слева направо, – и останавливались, чтобы лениво перемигнуть, когда полет мяча прерывался. В солнечном блеске, на яблочной зелени удивительно прекрасна была яркая белизна трех пар фланелевых штанов и одной короткой веселой юбки, – но, как было замечено выше, господин Магор считал творца жизни лишь посредственным подражателем тех мастеров, которых он сорок лет изучал.

Тем временем Франк и Морийн, взяв пять игр подряд, собирались взять и шестую. Франк, подавая мяч, высоко подбросил его левой рукой, весь откинулся назад, словно падая навзничь, и сразу широким дугообразным движением хлынул вперед, скользнув блеснувшей ракетой по мячу, который стрельнул через сетку и со свистом, как белая молния, прыгнул мимо Симпсона, беспомощно покосившегося на него.

– Это конец, – сказал полковник.

Симпсон почувствовал глубокое облегчение. Он слишком стыдился своих неумелых ударов, чтобы быть в состоянии увлечься игрой, и этот стыд обострялся еще тем, что Морийн ему необыкновенно нравилась. Как полагается, все участники игры раскланялись, и Морийн искоса улыбнулась, поправляя ленточку на оголившемся плече. Муж ее с равнодушным лицом хлопал в ладоши.

– Мы должны с тобой вдвоем сразиться, – заметил полковник, вкусно хлопнув по спине сына, который, скаля зубы, натягивал клубный пиджак, белый в малиновую полоску, с фиолетовым гербом на боку.

– Чай! – сказала Морийн. – Я жажду чаю...

Все двинулись в тень гигантского ильма, где дворецкий и черно-белая горничная поставили легкий столик. Был темный, как мексиканское пиво, чай, сэндвичи, составленные из огуречных слоев и прямоугольников хлебного мякиша, смуглый пирог в черной оспе изюма, крупная виктория со сливками. Было также несколько каменных бутылок имбирной шипучки.

– В мое время, – заговорил полковник, с грузным наслаждением опускаясь в складное суконное кресло, – мы предпочитали настоящий, полнокровный английский спорт – регби, крикет, охоту. Есть что-то иностранное в современных играх. Я стойкий сторонник мужественных схваток, сочного мяса, вечерней бутылки портвейна, – что не мешает мне, – закончил

полковник, приглаживая щеточкой крупные свои усы, – любить старинные плотные картины, в которых есть отблеск того же доброго вина.

– Кстати, полковник, «Венецианка» повешена, – скучным голосом сказал Магор, положив подле стула на газон свою шляпу и потирая ладонью голое, как колено, темя, вокруг которого еще густо вились грязные серые кудри. – Я выбрал самое светлое место в галерее. Лампочку над ней приладили. Мне хотелось бы, чтобы вы взглянули.

Полковник блестящими глазами уставился поочередно на сына, на смутившегося Симпсона, на Морийн, которая смеялась и морщилась от горячего чая.

– Мой дорогой Симпсон, – крепко воскликнул он, обрушиваясь на выбранную жертву, – вот вы еще не видели! Простите, что оторву вас от сэндвича, мой друг, но я обязан показать вам мою новую картину. Знатоки от нее с ума сходят. Пойдемте. Разумеется, Франку я не смею предложить...

Франк весело поклонился:

– Ты прав, отец. Меня мутит от живописи.

– Мы сейчас вернемся, госпожа Магор, – сказал полковник, вставая. – Осторожно, наступите на бутылку, – обратился он к Симпсону, который встал тоже. – Приготовьтесь к душе красоты.

Они втроем направились к дому через мягко озаренный газон. Франк, прищурившись, посмотрел им вслед, взглянул вниз на соломенную шляпку Магора, оставленную им на мураве, подле стула (она показывала Богу, синему небу, солнцу свое белесое дно с темным сальным пятном посредине, на штемпеле венского шляпника), и потом, повернувшись к Морийн, произнес несколько слов, которые, верно, удивят недогадливого читателя. Морийн сидела в низком кресле, вся в дрожащих колечках солнца, прижимая ко лбу золотистый переплет ракеты, и лицо ее стало старше и строже, когда Франк сказал:

– Ну что ж, Морийн? Теперь нам нужно решить...

2

Магор и полковник, как два стражника, ввели Симпсона в просторную и прохладную залу, где по стенам лоснились картины и где мебели не было, если не считать овального стола из блестящего черного дерева, который стоял посредине и всеми четырьмя ногами отражался в зеркальной ореховой желтизне паркета. Подведя пленника к большому полотну в тусклой золоченой раме, полковник и Магор остановились, первый – заложив руки в карманы, второй – задумчиво выковыривая из ноздри сухую серую пыльцу и рассыпая ее мелким вращательным движением пальцев.

А картина была действительно очень хороша. Лучиано изобразил венецианскую красавицу, стоящую вполоборота на теплом черном фоне. Розоватая ткань открывала смуглую сильную шею с необыкновенно нежными складками под ухом, и с левого плеча сползал серый рысий мех, которым была оторочена вишневого цвета накидка. Правой рукой, продолговатыми пальцами, по два раздвинутыми, она, казалось, только что собралась поправить спадающий мех, но застыла, пристально и томно глядя с полотна карими, сплошь темными глазами. Левая рука в белой зыби батиста вокруг запястья держала корзинку с желтыми плодами; накладка тонким венцом светилась на темно-каштановых волосах. И слева от нее черный тон прерывался большим прямоугольным провалом прямо в сумеречный воздух, в синевато-зеленую бездну облачного вечера.

Но не подробности изумительных теневых сочетаний, не темная теплота всей картины поразили Симпсона. Было нечто другое. Слегка нагнув голову набок и мгновенно покраснев, он проговорил:

– Господи, как она похожа...

– ...на мою жену, – скучным голосом закончил Магор, рассыпая сухую пыльцу.

– Необыкновенно хорошо, – прошептал Симпсон, наклонив голову на другой бок, – необыкновенно...

– Себастиано Лучиано, – сказал полковник, самодовольно прищурившись, – родился в конце пятнадцатого века в Венеции и умер в середине шестнадцатого в Риме. Учителями его были Беллини и Джорджоне, соперниками – Микель Анджело и Рафаэль. Он, как видите, соединил в себе силу первого и нежность второго. Санти, впрочем, он недолюбливал – и дело тут было не в одном тщеславии: легенда гласит, что наш художник был неравнодушен к римлянке Маргарите, прозванной впоследствии Форнарину. За пятнадцать лет до своей смерти он произнес обет монашества по случаю получения от Климента VII легкой и доходной должности. С тех пор именуется он Фра Бастиано дель Пьомбо. «Il Piombo» значит «свинец», ибо должность его состояла в том, что он прикладывал огромные свинцовые печати к пламенным папским буллам. Монахом он был распутным, со вкусом бражничал и писал посредственные сонеты. Но какой мастер!..

И полковник мельком взглянул на Симпсона, с удовольствием отмечая, какое впечатление произвела картина на его тихого гостя.

Но снова нужно подчеркнуть: Симпсон, не привыкший к созерцанию живописи, не мог, конечно, оценить мастерство Себастиано дель Пьомбо, и единственное, что очаровало его, независимо, конечно, от чисто физиологического действия чудесных красок на глазные нервы, – было сходство, им сразу подмеченное, хотя Морийн он видел нынче в первый раз. И замечательно, что лицо Венецианки, с ее гладким лбом, словно облитым тайным отблеском некоей оливковой луны, с ее сплошь темными глазами и спокойным выжидательным выражением мягко сложенных губ, – объяснило ему истинную красоту той Морийн, которая все смеялась и щурилась и играла глазами – в постоянной борьбе с солнцем, яркими пятнами скользившим по ее белому платью, когда, раздвигая ракетой шумящие листья, она отыскивала закатившийся мяч.

Пользуясь свободой, которую в Англии хозяин предоставляет своим гостям, Симпсон не вернулся к чайному столику, а пошел, огибая звездистые цветники, через сад – и вскоре заблудился в шашечных тенях парковой аллеи, где пахло папоротником и листовым гнилом. Громадные деревья были такие старые, что их ветви пришлось подхватить ржавыми скрепами, и мощно горбились они, словно дряхлые гиганты на железных костылях.

– Ах, какая удивительная картина, – опять прошептал Симпсон. Он шел, тихо помахивая ракетой, сутулясь и пошлепывая резиновыми подошвами. Его следует отчетливо представить себе – тощего, рыжеватого, в мятых белых штанах, в мешковатом сером пиджаке с хлястиком – а также хорошо отметить легкое без ободков пенсне на рябой пуговке носа, и слабые, слегка безумные глаза, и веснушки на круглом лбу, на маслаках, на красной от летнего загара шее.

Он учился в университете второй год, жил скромно, прилежно слушал лекции по богословию. Подружился он с Франком не только потому, что судьба поселила их в одну квартиру, состоящую из двух спален и одной общей гостиной, – но главным образом потому, что, как большинство слабовольных, застенчивых, втайне восторженных людей, он невольно льнул к человеку, в котором все было ярко, крепко – и зубы, и мышцы, и физическая сила души – воля. А со своей стороны Франк, эта гордость колледжа, – он греб на гонках, и летал через поле с кожаным арбузом под мышкой, и умел нанести кулаком удар в самый кончик подбородка, где есть такая же музыкальная косточка, как в локте, удар, усыпительно действующий на противника, – этот необыкновенный, всеми любимый Франк находил что-то очень льстившее его самолюбие в дружбе с неловким, слабым Симпсоном. Симпсону было, между прочим, известно то странное, что Франк скрывал от прочих приятелей, знавших его только как прекрасного спортсмена и веселого малого и вовсе не обращавших внимания на мимолетные слухи о том, что Франк исключительно хорошо рисует, но рисунков своих не показывает никому.

Он никогда не говорил об искусстве, охотно пел и пил, и бесчинствовал, но порою нападал на него внезапный сумрак; тогда он не выходил из своей комнаты, никого не впускал, – и только сожитель его, смиренный Симпсон, видел, чем занят он. То, что Франк создавал за эти два-три дня злобного уединения, он либо прятал, либо уничтожал, а потом, словно отдав мучительную дань пороку, снова был весел и прост. Только раз он об этом заговорил с Симпсоном.

– Понимаешь, – сказал он, морща чистый лоб и крепко выбивая трубку, – я считаю, что в искусстве – особенно в живописи – есть что-то женственное, болезненное, недостойное сильного человека. Я стараюсь бороться с этим бесом, оттого что знаю, как он губит людей. В случае, если я всецело ему поддамся, меня ожидает не покойная и размеренная жизнь с ограниченным количеством горя, с ограниченным количеством наслаждения, с точными правилами, без которых всякая игра теряет свою прелесть, – а сплошная сумятица, буря, Бог знает что. Я буду до гроба мучиться, я стану подобен тем несчастным, которых я встречал в Чельси, тем длинноволосым, самолюбивым дуракам в бархатных куртках – издерганным, слабым, любящим одну только свою липкую палитру...

Но бес, по-видимому, был очень силен. По окончании зимнего семестра Франк, ничего не сказав отцу – и этим глубоко его обидев, – укатил третьим классом в Италию и через месяц вернулся прямо в университет, загорелый, радостный, точно отделавшись навсегда от сумрачной лихорадки творчества.

Потом, когда наступили летние каникулы, он предложил Симпсону погостить в отцовском имении, и Симпсон, благодарно вспыхнув, согласился, ибо он с ужасом думал об очередном возвращении домой в тихий северный городок, где ежемесячно случалось какое-нибудь потрясающее преступление, к отцу-священнику, мягкому, безобидному, но совершенно сумасшедшему человеку, занятому больше игрой на арфе и комнатной метафизикой, нежели своей паствой.

Созерцание красоты – будь то особенным образом расцвеченный закат, светящееся лицо или произведение искусства – заставляет нас бессознательно оглянуться на собственное наше прошлое, сопоставить себя, свою душу с недостижимой совершенной красотой, открывшейся нам. Оттого-то и Симпсон, перед которым только что встала в батисте и бархате давно умершая Венецианка, теперь вспоминал, тихо идя по липовой земле аллеи – бесшумной в этот предвечерний час, – вспоминал и дружбу свою с Франком, и арфу отца, и свою безрадостную стесненную юность. Звучная лесная тишина дополнялась порой треском неведомо кем тронутой ветки. Рыжая белка скользнула вниз по стволу, побежала к стволу соседнему, подняв пушистый хвост, и опять кинулась вверх. В мягком потоке солнца между двух рукавов листвы золотой пылью кружилась мошкара, и сдержанно, уже по-вечернему жужжал шмель, запутавшийся в тяжелых кружевах папоротника.

Симпсон сел на скамью, измызанную мазками белил – засохшим птичьим пометом, – и сгорбился, упираясь острыми локтями в колени. Он почувствовал приступ особой слуховой галлюцинации, которой он с детства был подвержен. Находясь в поле или, как сейчас, в тихом, уже вечерющем лесу, он невольно принимался думать о том, что в этой тишине он может, пожалуй, слышать, как весь громадный мир сладко свищет через пространство, как шумят далекие города, как бухают волны моря, как телеграфные провода поют над пустынями. И постепенно его слух, ведомый его мыслью, начинал и вправду различать эти звуки. Он слышал пыхтение поезда, – хотя полотно отстояло, быть может, на десятки миль, – затем грохот и лязг колес и – по мере того как тайный слух его все обострялся – голоса пассажиров, смех и кашель и шелест газет в их руках, и, наконец, до самого дна углубившись в свой звуковой мираж, отчетливо различал бой их сердец, и этот бой, этот гул, этот грохот, катясь и возрастая, оглушал Симпсона; вздрогнув, он открывал глаза и понимал, что это бьется так громко его же сердце.

– Лугано, Комо, Венеция... – пробормотал он, сидя на скамье под бесшумным орешником, – и тотчас же услышал тихий плеск солнечных городов, а потом – уже ближе – позвяки-

вание бубенцов, свист голубиных крыл, высокий смех, похожий на смех Морийн, и шарканье, шарканье невидимых прохожих. Ему хотелось удержать на этом слух, – но слух его, как поток, бежал все глубже, – еще миг, и – уже не в силах остановиться в своем странном падении – он слышал не только шаги прохожих, но стук их сердец, – миллионы сердец вздувались и гремели, и, очнувшись, Симпсон понял, что все звуки, все сердца сосредоточены в сумасшедшем биении его собственного сердца.

Он поднял голову. Легкий ветер, как движение шелкового шлейфа, прошел по аллее. Мягко желтели лучи.

Он встал, слабо улыбнулся и, забыв на скамье ракету, направился к дому. Пора было переодеваться к обеду.

3

– Однако жарко мне от этого меха! Нет, полковник, это просто кошка. Соперница моя, Венецианка, носила, верно, кое-что подороже. Но цвет тот же, не правда ли? Полное впечатление, одним словом.

– Если бы я посмел, я покрыл бы вас лаком, а полотно Лучиано отправил бы на чердак, – любезно подхватил полковник, который был не прочь, несмотря на строгость своих правил, вызвать на ласковый словесный бой такую привлекательную женщину, как Морийн.

– Я бы треснула, – возразила она, – от смеха...

– Боюсь, госпожа Магор, что мы для вас составляем ужасно неудачный фон, – сказал Франк с широкой мальчишеской улыбкой. – Мы грубые, самодовольные анахронизмы. Вот если бы ваш муж надел бы панцирь...

– Глупости, – сухо усмехнулся Магор. – Впечатление старинного вызвать так же легко, как впечатление красок, путем нажатия на верхнее веко. Я позволяю иногда себе роскошь вообразить современный мир, наши машины, наши моды такими, какими они будут казаться потомкам нашим через четыреста-пятьсот лет, – уверяю вас, я чувствую себя тогда старинным, как монах времен Возрождения.

– Еще вина, мой дорогой Симпсон, – предложил полковник.

Робкий, тихий Симпсон, сидевший между Магором и его женой, слишком рано, при втором блюде, пустил в ход большую вилку вместо маленькой, так что для жаркого остались маленькая вилка и большой ножик, и теперь, двигая ими, он как бы хромал на одну руку. Когда во второй раз обносили жаркое, он из нервозности взял еще – и тогда заметил, что он ест один и что все с нетерпением ждут, когда он кончит. Он так растерялся, что отодвинул полную еще тарелку и чуть не опрокинул стакан и стал медленно краснеть. Вспыхивал он во время обеда уже несколько раз, и не потому, что было действительно что-нибудь стыдное, а потому, что он думал, что может беспричинно покраснеть, и тогда щеки его, лоб, даже шея постепенно наливались розовой кровью – и слепую, мучительно жаркую краску так же невозможно было остановить, как удержать за тучей выплывающее из-за нее солнце. При первом таком приступе он нарочно уронил салфетку, но когда поднял голову опять, то страшно было на него смотреть: вот-вот воротнички займутся. В другой раз он попытался пресечь наступление молчаливой горячей волны тем, что обратился к Морийн с вопросом – нравится ли ей играть в лаун-теннис, но, к несчастью, Морийн не расслышала, переспросила, и, повторяя свою глупую фразу, Симпсон мгновенно покраснел до слез, и Морийн из чувства милосердия отвернулась, заговорила о другом.

То, что он сидит рядом с ней, ощущает теплоту ее щеки, ее плеча, с которого, как на картине, соскальзывает серый мех, и то, что мех этот она собралась было удержать, но при вопросе Симпсона остановилась, вытянув и сложив по два длинные тонкие пальцы, – так томило его, что в глазах стоял влажный блеск от хрустального огня стаканов, и ему все казалось, что круг-

лый стол, освещенный остров, медленно вращается и, вращаясь, плывет куда-то, тихо увлекая сидящих вокруг него. Между стеклянных половин раскинутых дверей виднелись в глубине черные кегли балконной балюстрады, и душно веял синий воздух ночи. Этот воздух сквозь ноздри вдыхала Морийн, мягкие, сплошь темные глаза ее скользили от одного к другому и не улыбались, когда улыбка чуть приподнимала уголок ее нежных, ненакрашенных губ. Ее лицо оставалось в смугловатой тени, и только лоб был облит гладким светом. Она говорила пустые, смешные вещи – и все смеялись, и полковник приятно багровел от вина. Магор, чистивший яблоко, обхватил его, как обезьяна, ладонью, и маленькое его лицо в венце серых кудрей морщилось от усилий, и серебряный ножик, крепко зажатый в волосатом темном кулаке, снимал бесконечные спирали румяной и желтой кожи. Лицо же Франка Симпсон видеть не мог, так как между ними стоял букет огненных мясистых георгинов в блестящей вазе.

После обеда, окончившегося портвейном и кофеем, полковник, Морийн и Франк сели играть в бридж – с подставным, ибо двое остальных играть не умели.

Старый реставратор вышел, врозь расставляя колени, на темный балкон, и Симпсон последовал за ним, чувствуя за своей спиной отступающую теплоту Морийн.

Магор опустил в соломенное кресло у балюстрады, крикнул и предложил Симпсону сигару. Симпсон уселся боком на перила и неловко закурил, щурясь и раздувая щеки.

– Венецианка этого старого распутника дель Пьомбо вам, стало быть, понравилась, – сказал Магор, выпуская в темноту розовый клуб дыма.

– Очень, – ответил Симпсон и добавил: – Я, конечно, ничего не смыслю в картинах...

– Но все же понравилась, – закивал Магор. – Превосходно. Это первый шаг к пониманию. Вот я, например, всю жизнь посвятил этому.

– Она – как живая, – задумчиво сказал Симпсон. – Можно поверить в таинственные рассказы об оживающих портретах. Я читал где-то, что какой-то король сошел с полотна и как только...

Магор рассыпался тихим трескучим смехом.

– Это, конечно, пустяки. Но вот бывает другое, – обратное, так сказать.

Симпсон взглянул на него. В темноте ночи белесым горбом коробился крахмальный перед его рубашки, и рубиновый шишковатый огонь сигары освещал снизу его маленькое морщинистое лицо. Он много выпил вина и был, видимо, в настроении говорить.

– Бывает вот что, – продолжал он неторопливо, – представьте себе, что вместо того, чтобы вызвать написанную фигуру из рамы, человеку удалось бы – самому вступить в картину. Вам смешно, не правда ли? Однако я проделал это не раз. Мне выпало на долю счастье осмотреть все картинные галереи в Европе – от Гааги до Петербурга и от Лондона до Мадрида. Когда мне картина особенно нравилась, я становился прямо перед ней и сосредоточивал всю свою волю на одной мысли: вступить в нее. Мне, конечно, было жутко. Я чувствовал себя как апостол, собирающийся сойти из барки на водную поверхность. Но зато какое потом блаженство! Предо мной было, положим, полотно фламандской школы, со святым семейством на переднем плане, с чистым гладким ландшафтом на заднем. Дорога, знаете, белой змеей, и зеленые холмы. И вот наконец я решился. Я вырывался из жизни и вступал в картину. Чудесное ощущение! Прохлада, тихий воздух, пропитанный воском, ладаном. Я становился живой частью картины, и все оживало кругом. Двигались силуэты пилигримов по дороге. Дева Мария что-то тихо лопотала по-фламандски. Ветерок колебал условные цветы. Плыли тучи... Но наслаждение длилось недолго; я начинал чувствовать, что мягко стыну, влипаю в полотно, заплываю масляной краской. Тогда я жмурился и, со всех сил дернувшись, выпрыгивал: был нежный хлопающий звук, как когда вытаскиваешь ногу из глины. Я открывал глаза – я лежал на полу, под прекрасной, но мертвой картиной...

Симпсон внимательно и смущенно слушал. Когда Магор остановился, он едва заметно вздрогнул и огляделся. Все было по-прежнему. Сад внизу дышал темнотой, сквозь стеклян-

ную дверь видать было полуосвещенную столовую, а в глубине, сквозь другую открытую дверь, яркий уголок гостиной и три фигуры, играющие в карты. Какие странные вещи говорил Магор!..

– Понимаете, – продолжал он, стряхивая слоистый пепел, – еще бы мгновение, и картина засосала бы меня навсегда. Я ушел бы в ее глубину, жил бы в ее пейзаже, а не то, ослабев от ужаса и не в силах ни вернуться в мир, ни углубиться в новую область, застыл бы написанным на полотне, в виде того анахронизма, о котором говорил Франк. Но, несмотря на опасность, я вновь и вновь поддавался соблазну... Ах, мой друг, я влюблен в Мадонн! Помню первое мое увлечение – Мадонну в голубой короне, нежного Рафаэля... За ней, в отдалении, у колонн стоят двое и мирно беседуют. Я подслушал их разговор. Они говорили о стоимости какого-то кинжала... Но самая прелестная из всех Мадонн принадлежит кисти Бернардо Луини. Во всех его творениях есть тишина и нежность озера, на берегу которого он родился, – Лаго Маджиоре. Нежнейший мастер... Из имени его даже создали новое прилагательное – «luinesco». У лучшей его Мадонны длинные, ласково опущенные глаза; ее одежда в голубовато-алых, в туманно-оранжевых оттенках. Вокруг чела легкий газ, волнистая дымка, и такую же дымкой обвит ее рыжеватый младенец. Он поднимает к ней бледное яблоко, она смотрит на него, опустив нежные, продолговатые очи... Луиниевские очи... Боже мой, как я целовал их...

Магор замолк, и мечтательная улыбка тронула его тонкие губы, освещенные огнем сигары. Симпсон затаил дыхание, и ему казалось, как давеча, что он медленно плывет в ночь.

– Бывали неприятности, – продолжал Магор, кашлянув. – У меня разболелись почки после чаши крепкого сидра, которым меня однажды угостила дебелая вакханка Рубенса, а на желтом туманном катке одного из голландцев я так простудился, что целый месяц кашлял и харкал мокротой. Вот что бывает, господин Симпсон.

Магор скрипнул креслом, встал, оправляя жилет.

– Заговорился я, – сухо заметил он. – Пора спать. Они Бог знает как долго еще будут хлопать картами. Я пойду; спокойной ночи...

Он прошел через столовую в гостиную и, кивнув на ходу играющим, скрылся в отдаленных тенях. Симпсон остался один на своей балюстраде. В ушах у него звенел тонкий голос Магора. Великолепная звездная ночь подступала к самому балкону, неподвижны были бархатные громады черных деревьев. Сквозь двери за полосой темноты он видел розовую лампу в гостиной, стол, нарумяненные светом лица играющих. Вот полковник встал. Встал и Франк. Издали, словно в телефон, донесся голос полковника:

– Я старый человек, я ложусь рано. Спокойной ночи, госпожа Магор...

И смеющийся голос Морийн:

– Я тоже сейчас пойду. А то муж будет сердиться...

Симпсон слышал, как в глубине закрылась дверь за полковником, – и тогда случилась невероятная вещь. Из темноты своей он видел, как Морийн и Франк, оставшиеся одни – там, далеко, в провале мягкого света, – скользнули друг к другу, как Морийн откинула голову и откидывала ее все ниже назад под сильным и долгим поцелуем Франка. Потом, подхватив упавший мех и взъерошив Франку волосы, она скрылась в глубину, мягко хлопнув дверью. Франк, улыбаясь, пригладил волосы, засунул руки в карманы и, посвистывая тихо, пошел через столовую к балкону. Симпсон был до того потрясен, что застыл, вцепившись пальцами в перила, и с ужасом глядел, как близится сквозь стеклянный блеск белый вырез, черное плечо. Франк, выйдя на балкон и увидя в темноте фигуру приятеля, чуть вздрогнул и закусил губы.

Симпсон неловко сполз с перил. Ноги у него дрожали. Он сделал героическое усилие:

– Чудесная ночь. Мы тут с Магором болтали.

Франк спокойно сказал:

– Он много врет – Магор. Впрочем, когда он разойдется, то послушать его не мешает.

– Да, очень любопытно... – слабо поддержал Симпсон.

– Это Большая Медведица, – сказал Франк и зевнул, не открывая рта. Потом добавил ровным голосом: – Я, конечно, знаю, что ты совершенный джентльмен, Симпсон.

4

Утром забусил, замерцал, протянулся бледными нитями по темному фону лиственных глубин мелкий и теплый дождь. К утреннему завтраку явились только трое – сперва полковник и вялый, бледный Симпсон, затем Франк – свежий, чистый, до лоску выбритый, с простодушной улыбкой на слишком тонких губах.

Полковник был сильно не в духе: накануне, во время бриджа, он кое-что заметил, а именно: быстро нагнувшись под стол за упавшей картой, он заметил, что Франк прижался коленом к колену Морийн. Это нужно было прекратить немедленно. Полковник уже некоторое время догадывался, что есть что-то неладное. Недаром Франк рванулся в Рим, где всегда весной бывали Магоры. Пускай сын его делает что хочет – но здесь, в доме, в родовом замке, допустить... нет, надо принять тотчас же самые резкие меры.

Неудовольствие полковника губительно влияло на Симпсона. Ему казалось, что хозяин тяготится его присутствием, и он не знал, о чем говорить. Только Франк был, как всегда, спокойно весел, блестел зубами, вкусно грыз горячие гренки, смазанные апельсиновым вареньем.

Когда допили кофе, полковник закурил трубку и встал.

– Ты хотел посмотреть новую машину, Франк? Пойдем в гараж. При этом дожде все равно ничего нельзя делать...

Потом, почувствовав, что бедный Симпсон нравственно повис в воздухе, полковник добавил:

– Тут у меня несколько хороших книг, мой дорогой Симпсон. Если вам угодно...

Симпсон встрепенулся и стащил с полки какой-то большой красный том: он оказался «Ветеринарным вестником» за 1895 год.

– Мне нужно два слова тебе сказать, – начал полковник, когда он и Франк, напялив хрустящие макинтоши, вышли в туман дождя.

Франк быстро взглянул на отца.

«Как бы это сказать», – подумал полковник, пыхтя трубкой.

– Слушай, Франк, – решил он, и мокрый гравий сочнее зашуршал под его подошвами. – Мне стало известно, все равно как, – или, проще говоря, я заметил, – э, к черту! Вот что, Франк, какие у тебя отношения с женой Магора?

Франк тихо и холодно ответил:

– Я предпочел бы с тобой об этом не говорить, отец. – Про себя же злобно подумал: «Однако, – скотина какая – донес!»

– Я, разумеется, не могу требовать, – начал полковник и осекся. В теннисе, при первом неудачном ударе, он еще умел сдерживаться.

– Хорошо бы починить этот мостик, – заметил Франк, стукнув каблуком по гнилой балке.

– К черту мост! – сказал полковник. Это был второй промах, и на лбу у него надулась гневная ижица жил.

Шофер, гремевший ведрами у ворот гаража, увидя хозяина, стянул свой клетчатый картуз. Это был маленький плотный человек с подстриженными желтыми усиками.

– Доброе утро, сэр, – мягко сказал он и плечом отодвинул крыло ворот. В полутьме, откуда пахло бензином и кожей, поблескивал громадный черный, совершенно новый «роллс-ройс».

– А теперь пройдемся по парку, – глухо сказал полковник, когда Франк вдоволь осмотрел цилиндры, рычаги.

В парке первое, что случилось, было то, что крупная холодная капля упала с ветки полковнику за воротник. Эта капля, собственно говоря, и переполнила чашу. Он пожевал губами, как бы примериваясь к словам, и вдруг грянул:

– Предупреждаю тебя, Франк, никаких приключений в духе французских романов я у себя в доме не допущу. К тому же Магор – мой друг, – понимаешь ты это или нет?

Франк поднял со скамьи ракету, забытую накануне Симпсоном. От сырости она превратилась в восьмерку. «Подлая», – с отвращением подумал Франк. Грузным грохотом проносились слова отца.

– Не потерплю, – говорил он. – Если не можешь вести себя прилично, так уезжай. Я тобой недоволен, Франк, я тобою страшно недоволен. В тебе есть что-то, чего я не понимаю. В университете ты учишься дурно. В Италии ты делал Бог знает что. Говорят, ты занимаешься живописью. Вероятно, я не достоин того, чтобы ты показывал мне свою мазню. Да, мазня. Я представляю себе... Гений, подумаешь. Ведь ты, наверное, считаешь себя гением, – или еще лучше – футуристом! А тут еще эти романы... Одним словом, если...

И тут полковник заметил, что Франк тихо и беспечно посвистывает сквозь зубы. Он остановился и выпучил глаза.

Франк швырнул, как бумеранг, исковерканную ракету в кусты, улыбнулся и сказал:

– Это все пустяки, отец. В одной книге, где описывалась афганистанская война, я читал о том, что ты тогда сделал и за что получил крест. Это было совершенно глупо, сумасбродно, самоубийственно – но это был подвиг. Вот это главное. А твои рассуждения – пустяки. Добрый день.

И полковник остался один стоять посреди аллеи, оцепенев от изумления и гнева.

5

Отличительная черта всего сущего – однообразие. Мы принимаем пищу в определенные часы, потому что планеты, подобно никогда не опаздывающим поездам, отходят и прибывают в определенные сроки. Без такого строго установленного расписания времени средний человек не может себе представить жизнь. Зато игривый и кощунственный ум найдет немало занятного в соображениях о том, как жилось бы людям, если бы день продолжался нынче десять часов, завтра – восемьдесят пять, а послезавтра – несколько минут. Можно сказать *a priori*¹³, что в Англии такая неизвестность относительно точной продолжительности грядущего дня привела бы прежде всего к необычайному развитию пари и всяких других азартных соглашений. Человек терял бы все свое состояние благодаря тому, что день длился на несколько часов дольше, чем он предполагал накануне. Планеты стали бы подобны скаковым лошадям – и сколько волнений возбуждал бы какой-нибудь гнедой Марс, берущий последний небесный барьер. Астрономы оказались бы в положении букмекеров, бог Аполлон изображался бы в огненном жокейском картузе – и мир весело сошел бы с ума.

Но, к сожалению, дело обстоит иначе. Точность всегда угрюма, и наши календари, где жизнь мира вычислена наперед, напоминают программу экзамена, от которого не увернешься. Конечно, в этой системе космического Тейлора есть нечто успокоительное и бездумное. Зато как прекрасно, как лучезарно порой прерывается мировое однообразие книгой гения, кометой, преступлением или даже просто одной ночью без сна. Но законы наши, пульс, пищеварение крепко связаны со стройным движением звезд, и всякая попытка нарушить равномерность карается – в худшем случае отсечением головы, в лучшем – головной болью. Впрочем, мир был создан, несомненно, с добрыми намерениями, и никто не виноват в том, что в нем иногда бывает скучно и что музыка сфер напоминает иным бесконечные повторения шарманки.

¹³ Заранее, наперед (*лат.*).

Однообразие это особенно остро ощущал Симпсон. Он чувствовал что-то страшное в том, что и сегодня второй завтрак последует за первым, обед – за чаем, с ненарушимой правильностью. Когда он подумал о том, что так будет продолжаться всю жизнь, ему захотелось кричать, биться, как бьется человек, проснувшийся в гробу. За окном все мерцала морось, – и оттого, что приходилось сидеть дома, в ушах жужжало, как когда бывает жар. Магор весь день просидел в мастерской, устроенной для него в башне замка. Он работал над восстановлением лакировки небольшой темной картины, писанной на дереве. В мастерской пахло клеем, терпентином, чесноком, которым очищают картину от солевых пятен; на маленьком верстаке, подле пресса, блестели колбы – соляная кислота, винный спирт, – валялись куски фланели, ноздреватые губки, разнообразные гратуары. Магор был в старом халате, в очках, без воротничков, запонка величиной чуть ли не в дверную кнопку торчала под самым кадыком, шея была тонкая, серая, в старческих пупырьках, и черная мурmolка покрывала плешь. Он рассыпал, знакомым уже читателю, мелким вращательным движением пальцев щепотку истолченной смолы, осторожно втирал ее в картину, и старый пожелтевший лак, царапаемый частичками порошка, сам превращался в сухую пыль.

Остальные обитатели замка сидели в гостиной, полковник сердито развернул исполинскую газету, вслух читал, медленно успокаиваясь, чью-то очень консервативную статью. Потом Морийн и Франк затеяли игру в пинг-понг: целлулоидный мячик со звонким грустным треском перелетал через зеленую сетку, натянутую поперек длинного стола, – и Франк, конечно, играл превосходно, двигая одной кистью, легко поворачивая слева направо тонкую деревянную лопатку.

Симпсон прошел по всем комнатам, кусая губы и поправляя пенсне. Так вошел он в галерею. Бледный как смерть, тщательно прикрыв за собой тяжелую тихую дверь, он на носках подошел к «Венецианке» Фра Бастиано дель Пьомбо. Она встретила его знакомым матовым взглядом, и длинные пальцы ее замерли на пути к меховой оборке, к вишневым спадающим складкам. На него пахло медовой темнотой – и он глянул в глубь окна, прерывавшего черный фон. Там по зеленоватой синеве тянулись песочного цвета тучи, к ним поднимались ломаные темные скалы, меж которых вилась бледная тропа, а пониже были смутные деревянные лачуги – и Симпсону почудилось, что на мгновение зажглась в одной из них точка огня. И пока он смотрел в это воздушное окно, он почувствовал, что «Венецианка» улыбается, но, быстро взглянув на нее, не успел поймать улыбки: только слегка был приподнят правый теневой уголок мягко сложенных губ. И тогда что-то в нем сладко оборвалось, и он весь отдался теплому очарованию картины. Нужно помнить, что был он человек болезненно-восторженного нрава, что жизни он не знал совершенно и что впечатлительность заменяла в нем ум. Холодная дрожь, как быстрая сухая ладонь, скользнула по его спине – и тотчас же он понял, что должен он сделать. Но, быстро оглянувшись и увидев блеск паркета, стол, слепой белый лоск картин там, где падал на них дождливый свет, льющийся в окно, – он почувствовал стыд и страх. И хотя прежнее очарование мгновенно нахлынуло на него опять, он уже знал, что едва ли может выполнить то, что за минуту до этого он без мысли совершил бы.

Впившись глазами в лицо «Венецианки», он попятился от нее и вдруг широко раскинул руки. Копчиком он больно стукнулся обо что-то; обернувшись, увидел сзади себя черный стол. Стараясь ни о чем не думать, он влез на него – и встал во весь рост против «Венецианки» – и снова, взмахнув руками, приготовился к ней полететь.

– Удивительный способ любоваться картиной. Сам изобрел?

Это был Франк. Он стоял, расставя ноги, в дверях и с холодной усмешкой глядел на Симпсона.

Симпсон дико блеснул на него стеклами пенсне и неловко пошатнулся, как встревоженный лунатик. Потом сгорбился, жарко покраснел и неуклюжими движениями сошел на пол.

Франк поморщился от острого отвращения и молча вышел из залы. Симпсон кинулся за ним:

– Ах, пожалуйста, прошу тебя, не рассказывай... – Франк на ходу, не оглядываясь, брезгливо пожал плечами.

6

К вечеру дождь неожиданно перестал. Кто-то спохватился и завинтил краны. Влажный оранжевый закат задрожал между ветками, расширился, отразился во всех лужах сразу. Из башни был силой извлечен маленький кислый Магор. От него пахло скипидаром и горячим утюгом, он обжег себе руку. Нехотя напялил он черное пальто, поднял воротник и вышел с другими пройтись. Один Симпсон остался дома – под тем предлогом, что ему нужно непременно ответить на письмо, пришедшее с вечерней почтой. На самом же деле отвечать на письмо было незачем, так как было оно от университетского молочника, просившего немедленно заплатить по счету два шиллинга и девять пенсов.

Симпсон долго сидел в наплывающих сумерках, без мысли откинувшись на спинку кожного кресла, – потом вздрогнул, чувствуя, что засыпает, и стал думать о том, как поскорее выбраться из замка. Проще всего было сказать, что заболел отец: как многие застенчивые люди, Симпсон умел лгать не моргая. Но уехать было трудно. Что-то темное и сладкое удерживало его. Как хорошо темнели скалы в провале окна... Как хорошо было бы обнять ее за плечо, взять из левой руки ее корзину с желтыми плодами, тихо пойти с ней вместе по той бледной тропе во мглу венецианского вечера...

Он опять спохватился, что засыпает. Встал, вымыл руки. Снизу донесся круглый, сдержанный обеденный гонг.

От созвездия к созвездию, от обеда к обеду – так движется мир, так движется и этот рассказ. Но его однообразие теперь прервется невероятным чудом, неслыханным приключением. Ни Магор, опять тщательно освободивший граненую наготу яблока от блестящих румяных лент, – ни полковник, снова приятно побагровевший после четырех рюмок портвейна – не считая двух стаканов белого бургонского, – не могли, конечно, знать, какие неприятности принесет им завтрашний день. После обеда был неизменный бридж, и полковник с удовольствием заметил, что Франк и Морийн даже не глядят друг на друга. Магор пошел работать, а Симпсон сел в угол, раскрыв папку с литографиями, и только два-три раза взглянул из своего угла на играющих, мельком удивившись тому, что Франк с ним так холоден, а что Морийн как бы поблекла, уступила место другой... Эти мысли были такие ничтожные по сравнению с тем дивным ожиданием, с тем огромным волнением, которое он теперь старался обмануть разглядыванием неясных гравюр.

И когда расходились и Морийн с улыбкой кивнула ему, пожелала спокойной ночи, – он рассеянно, без смущения, улыбнулся ей в ответ.

7

В эту ночь, во втором часу, старый сторож, служивший некогда в грумах у отца полковника, совершал, как всегда, небольшую прогулку по аллеям парка. Он отлично знал, что должность его – пустая условность, так как местность была исключительно тихая. Ложился он спать неизменно в восемь часов вечера, в час трещал будильник – и тогда сторож, громадный старик с седыми почтенными баками, за которые, между прочим, любили таскать его дети садовника, – легко просыпался и, закутив трубку, вылезал в ночь. Обойдя разок тихий, темный парк, он возвращался в комнатку свою и, тотчас же раздевшись и оставшись в одной нетленной нательной фуфайке, очень шедшей к его бакам, снова ложился спать и уже спал до утра. В

эту ночь, однако, старый сторож заметил кое-что ему не понравившееся. Он заметил из парка, что одно окно в замке слабо освещено. Он знал совершенно точно, что это окно той залы, где висят дорогие картины. Будучи стариком необыкновенно трусливым, он решил притвориться перед самим собой, что этого странного света он не заметил. Но добросовестность взяла верх: он спокойно рассудил, что его дело смотреть, нет ли воров в парке, а воров в доме он не обязан ловить. Так рассудив, старик со спокойной совестью вернулся к себе – он жил в кирпичном домике близ гаража – и сразу заснул мертвецким сном, которого не мог бы прервать даже потрясающий грохот новой черной машины, если бы кто-нибудь в шутку пустил бы ее в ход, нарочно открыв глушитель.

Так приятный безобидный старик, как некий ангел-хранитель, на мгновение проходит через этот рассказ и вскоре удаляется в те туманные области, откуда он вызван был прихотью пера.

8

Но в замке действительно кое-что случилось.

Ровно в полночь Симпсон проснулся. Он заснул только что и, как это иногда бывает, проснулся именно оттого, что уснул. Приподнявшись на руку, он посмотрел в темноту. Сердце его крепко и быстро билось от сознания, что в комнату вошла Морийн. Только что в своем мгновенном сне он говорил с нею, помогал ей подниматься по восковой тропе между черных скал, расколотых тут и там маслянистым лоском. Узкая белая накладка, как лист тонкой бумаги, чуть трепетала на темных ее волосах при дуновении сладкого ветра.

Симпсон, тихо охнув, нащупал кнопку. Брызнул свет. В комнате никого не было. Он ощутил удар пронзительного разочарования, задумался, покачивая головой, как пьяный, – и потом дремотными движениями встал с постели, принялся одеваться, вяло чмокая губами. Им руководило смутное чувство, что ему нужно быть одетым строго и нарядно; потому-то он с какой-то сонной тщательностью застегивал на животе низкий жилет, завязывал черный бант галстука, долго ловил двумя пальцами несуществующего червячка на атласистом отвороте жакета. Смутно помня, что проще всего можно проникнуть в галерею с улицы, он, как тихий ветер, выскользнул через французское окно в темный мокрый сад. Черные кусты, словно облитые ртутью, блестели под звездами. Где-то гукала сова. Симпсон легко и быстро шел по газону, между сырых кустов, огибая громаду дома. На мгновение свежесть ночи, пристальный блеск звезд отрезвили его. Он остановился, нагнулся, как пустое платье опустился на мураву в узком пространстве между цветником и стеною замка. Дремота навалилась на него; ударом плеча он попытался ее сбросить. Надо было торопиться. Она ждет. Ему казалось, что он слышит ее настойчивый шепот...

Он не заметил, как встал, как вошел, как включил свет, облив теплым блеском полотно Лучиано. Венецианка стояла к нему вполоборота, живая и выпуклая. Темные глаза ее, без сверкания, глядели ему в глаза, розоватая ткань рубашки особенно тепло выделяла смуглую прелесть шеи, нежные складки под ухом. В правом уголку выжидательно сложенных губ застыла мягкая усмешка; длинные пальцы, по два расставленные, тянулись к плечу, с которого сползали мех и бархат.

И Симпсон, глубоко вздохнув, двинулся к ней и без усилия вступил в картину. Сразу закружилась голова от дивной прохлады. Пахло миртом и воском и чуть-чуть лимоном. Он стоял в какой-то голой черной комнате, у вечернего открытого окна, и совсем рядом с ним стояла венецианская настоящая Морийн, высокая, прелестная, вся изнутри освещенная. Он понял, что чудо случилось, и медленно потянулся к ней. Венецианка искоса улыбнулась, тихо поправила мех и, опустив руку в свою корзину, подала ему небольшой лимон. Не сводя глаз с ее заигрававших глаз, он взял из ее руки желтый плод – и как только он ощутил его шерохо-

ватый твердый холодок и сухой жар ее длинных пальцев, невероятное блаженство вскипело в нем, сладко заклокотало. Вздрыгнув, он отвернулся к окну: там, по бледной тропе между скал, шли синие силуэты в капюшонах, с фонариками. Симпсон оглянул комнату, где он стоял, не чувствуя, впрочем, пола под ногами. В глубине, вместо четвертой стены – светилась, как вода, далекая знакомая зала, с черным островом стола посередине. И тогда внезапный ужас заставил его стиснуть холодный маленький лимон. Очарование рассеялось. Он попробовал взглянуть налево, на Венецианку – но не мог повернуть шею. Он увяз, как муха в меду; дернулся и застыл, и чувствовал, как кровь его и плоть и платье превращаются в краску, врастают в лак, сохнут на полотне. Он стал частью картины, он был написан в нелепой позе рядом с Венецианкой, – и прямо перед ним, еще явственнее, чем прежде, распахивалась зала, полная земным, живым воздухом, которым отныне он дышать не мог.

9

На следующее утро Магор проснулся раньше обыкновенного. Босыми волосатыми ногами, с ногтями как черный жемчуг, он нашарил ночные туфли и мягко прошлепал по коридору к двери жениной спальни. Супружеских отношений между ними не было больше года, но он все равно каждое утро к ней приходил и с бессильным волнением смотрел, как она причесывается, сильно встряхивая головой и стрекоча гребнем по каштановому крылу натянутых волос. Сегодня в этот ранний час, войдя в ее комнату, он увидел, что постель убрана и что к изголовью пришпилен булавкой лист бумаги. Магор достал из глубокого кармана халата огромный футляр с очками и, не надевая их, а только приложив к глазам, наклонился над подушкой и прочел, что было написано знакомым мелким почерком на пришпиленном листе. Прочтя, он бережно вложил очки обратно в футляр, отколол и сложил лист, задумался на мгновение и потом, решительно шаркая туфлями, вышел из комнаты. В коридоре он столкнулся с лакеем, который испуганно взглянул на него.

– Что, полковник уже встал? – спросил Магор.

Лакей торопливо ответил:

– Да, сэр. Полковник в картинной галерее. Я боюсь, сэр, он очень сердится. Меня послали разбудить молодого господина.

Магор, не дослушав, запахивая на ходу свой мышинового цвета халат, быстро направился в галерею. Полковник, тоже в халате, из-под которого спадали складками концы полосатых ночных панталон, ходил взад и вперед вдоль стены, усы его щетинились, и лицо, налитое багровой кровью, было страшно. Увидя Магора, он остановился, пожевал губами, примериваясь, и грянул:

– Вот, полюбуйтеесь!

Магор, которому было мало дела до гнева полковника, все же невольно взглянул по направлению его руки и увидел действительно невероятную вещь. На полотне Лучиано, рядом с Венецианкой, появилась новая фигура. Это был отличный, хотя и наскоро сделанный портрет Симпсона. Тощий, в черном жакете, резко выступавшем на более светлом фоне, странно вывернув ноги, он протягивал руки, как будто в мольбе, и бледное лицо его было искажено жалким и безумным выражением.

– Нравится? – свирепо осведомился полковник. – Не хуже самого Бастиано, не правда ли? Мерзкий мальчишка! Отомстил мне за мой добрый совет. Ну, посмотрим...

Вошел растерянный лакей:

– Господин Франк не в своей комнате, сэр. И вещи его ушли. Господина Симпсона тоже нет, сэр. Он, вероятно, вышел пройтись, сэр, утро будучи так прекрасно.

– Утро будь проклято, – громыхнул полковник, – чтобы сию...

– Осмелюсь доложить, – робко добавил лакей, – что сейчас приходил шофер и сказал, что из гаража исчезла новая машина.

– Полковник, – тихо сказал Магор, – мне кажется, я могу объяснить вам, что случилось. Он посмотрел на лакея, и тот на носках вышел.

– Вот в чем дело, – скучным голосом продолжал Магор, – ваше предположение, что именно сын ваш надписал эту фигуру, несомненно правильно. Но кроме того, я заключаю из записки, мне оставленной, что он на рассвете увез мою жену.

Полковник был британцем и джентльменом. Он сразу почувствовал, что выражать свой гнев в присутствии человека, от которого только что сбежала жена, неприлично. Поэтому он отошел к окну – одну половину гнева проглотил, другую выдул, пригладил усы и, успокоившись, обернулся к Магору.

– Позвольте мне, мой дорогой друг, – сказал он учтиво, – уверить вас в моем самом искреннем, самом глубоком сочувствии и не говорить вам о той злобе, которую чувствую по отношению виновника вашего несчастья. Но, несмотря на то что понимаю, в каком вы находитесь состоянии, я должен, я принужден, мой друг, попросить вас немедленно оказать мне услугу. Искусство ваше спасет мою честь. Сегодня приезжает ко мне из Лондона молодой лорд Нортвик, обладатель, как вы знаете, другой картины того же дель Пьомбо.

Магор поклонился.

– Я принесу нужные мне принадлежности, полковник.

Минуты через две он вернулся, все еще в халате, с деревянным ящиком в руках. Немедленно он открыл его, вынул бутылку нашатырного спирта, сверток ваты, тряпочки, скоблилки и сел за работу. Соскабливая и стирая с лака черную фигуру и белое лицо Симпсона, он не думал вовсе о том, что делает, – но о чем думал он, не должно быть любопытно читателю, умеющему уважать чужое горе. Через полчаса портрет Симпсона совершенно сошел, и сыроватые краски, составлявшие его, остались на тряпочках Магора.

– Изумительно, – сказал полковник, – изумительно. Бедный Симпсон исчез бесследно.

Бывает, что какое-нибудь случайное замечание толкает нас на очень важные мысли. Так и теперь Магор, собиравший свои инструменты, вдруг вздрогнул и остановился.

«Странно, – подумал он, – очень странно. Неужели...»

Он посмотрел на тряпки с приставшей к ним краской и вдруг, странно поморщившись, собрал их в кучу и бросил в окно, у которого работал. Потом провел ладонью по лбу, испуганно взглянул на полковника, который, иначе понимая его волнение, старался не глядеть на него, и с необычайной поспешностью вышел из зала, прямо в сад.

Там, под окном, между стеной и рододендронами, садовник, почесывая темя, стоял над человеком в черном, лежавшим ничком на мураве. Магор быстро подошел.

Человек двинул рукой и повернулся. Потом с растерянной усмешкой встал на ноги.

– Симпсон, Господь с вами, что случилось? – спросил Магор, вглядываясь в его бледное лицо.

Симпсон усмехнулся опять:

– Мне ужасно жалко... Так глупо... Я ночью вышел пройтись – и вот заснул, тут на траве. Ах, – ломит... Я видел чудовищный сон... Который час?

Садовник, оставшись один, неодобрительно покачал головой, глядя на примятый газон. Потом наклонился и поднял небольшой темный лимон с отпечатками на нем пяти пальцев. Он сунул лимон в карман и пошел за каменным катком, оставленным на теннисной площадке.

10

Таким образом, сухой сморщенный плод, случайно найденный садовником, является единственной загадкой во всем этом рассказе. Шофер, посланный на станцию, привез обратно черный автомобиль и записку от Франка, вложенную в кожаный карман над сиденьем.

Полковник вслух прочел ее Магору:

«Мой дорогой отец, – писал Франк, – я исполнил два твоих желания. Ты пожелал, чтобы в доме у тебя романтики не было, поэтому я уезжаю, увозя с собой женщину, без которой жить не могу. Ты пожелал также, чтобы я показал тебе образец моего искусства: поэтому я написал для тебя портрет моего бывшего друга, которому ты, кстати, можешь от меня передать, что доносчики мне только смешны. Я писал его ночью, писал с памяти, – и если сходство не совершенно, то виной тому недостаток времени, плохое освещение и понятная моя торопливость. Твой новый автомобиль работает прекрасно. Я оставляю его до востребования в станционном гараже».

– Отлично, – прошипел полковник. – Только мне очень хотелось бы знать, на какие деньги ты будешь существовать.

Магор, бледный, как зародыш в спирту, кашлянул и сказал:

– Причин нет скрывать от вас правду, полковник. Лучиано никогда не писал вашей Венецианки. Это только изумительное подражание.

Полковник медленно встал.

– Это написал ваш сын, – продолжал Магор, и вдруг углы его рта стали дрожать и опускаться. – В Риме. Я ему достал полотно, краски. Он соблазнил меня своим дарованьем. Половина суммы, вами уплаченной, пошла ему. Ах, Боже мой...

Полковник, играя мускулами скул, посмотрел на грязный платок, которым Магор тер глаза, и понял, что бедняга не шутит.

Тогда он обернулся и посмотрел на Венецианку. На темном фоне светился ее лоб, мягко светились длинные пальцы, рысий мех прелестно спадал с плеча, в уголку губ была тайная усмешка.

– Я горжусь моим сыном, – спокойно сказал полковник.

Бахман

Не так давно промелькнуло в газетах известие, что в швейцарском городке Мариваль, в приюте Св. Анжелики, умер, миром забытый, славный пианист и композитор Бахман. Я вспомнил по этому поводу рассказ о женщине, любившей его, переданный мне антрепренером Заком. Вот этот рассказ.

Госпожа Перова познакомилась с Бахманом лет за десять до его смерти. В те дни золотой, глубокий, сумасшедший трепет его игры запечатлевался уже на воске, а заживо звучал в знаменитейших концертных залах. И вот однажды вечером – в один из тех осенних прозрачно-синих вечеров, когда больше боишься старости, нежели смерти, – Перова получила от приятельницы записку: «Я хочу показать тебе Бахмана. Сегодня после концерта он будет у меня. Приходи».

Я особенно ясно представляю себе, как надела она черное открытое платье, быстрым движением надушила себе шею и плечи, взяла веер, трость с бирюзовым набалдашником и, посмотревшись напоследок в тройную бездну трюмо, задумалась и оставалась задумчивой всю дорогу от дома своего до дома подруги. Она знала, что некрасива, не в меру худа, что бледность ее кожи болезненна, – но эта стареющая женщина с лицом неудавшейся мадонны была привлекательна именно тем, чего больше всего стыдилась, – бледностью губ и едва заметной хромотой, заставлявшей ее всегда ходить с тростью. Муж ее, страстный и острый делец, был в отъезде. Лично господин Зак его не знал.

Когда Перова вошла в небольшую, фиолетовым светом залитую гостиную, где тяжело перепархивала от гостя к гостю ее приятельница, тучная, шумливая дама в аметистовой диадеме, – ее внимание тотчас же привлек высокий, бритый, слегка напудренный господин, который стоял, облокотившись на выступ рояля, и что-то рассказывал трем дамам, подошедшим к нему. Хвосты его фрака были на добротной, особенно пухлой, шелковой подкладке, и, разговаривая, он то и дело откидывал темные, маслянистые волосы, раздувая при этом крылья носа – бледного, с довольно изящной горбинкой. Во всей его фигуре было что-то благосклонное, блистательное и неприятное.

– Акустика ужасная! – говорил он, дергая плечом. – А публика вся сплошь простужена. Не дай Бог кому-нибудь кашлянуть, моментально несколько человек подхватят, и поехало... – Он улыбнулся, откидывая волосы. – Это, знаете, как ночью, в деревне, собаки.

Перова подошла, легко опираясь на трость, и сказала первое, что пришло ей в голову:

– Вы, наверное, устали, господин Бахман, после вашего концерта?

Он поклонился, очень польщенный:

– Маленькая ошибка, мадам. Моя фамилия – Зак. Я только импресарио нашего маэстро.

Все три дамы рассмеялись. Перова смутилась и рассмеялась тоже. Об удивительной игре Бахмана она знала только понаслышке и портрета его не видела. В эту минуту к ней хлынула хозяйка, обняла и таинственно, одним движеньем глаз указав в глубину комнаты, шепнула:

– Вот он... посмотри...

И только тогда она увидела Бахмана. Он стоял в стороне от остальных гостей и, расставя короткие ноги в мешковатых черных штанах, читал газету, придвинув к самым глазам мятый лист и шевеля губами, как это делают при чтении полуграмотные. Был он низкого роста, плешивый, со скромным зачесом поперек темени, в отложном крахмальном воротничке, слишком для него широком. Не отрываясь от газеты, он рассеянно проверил одним пальцем ту часть мужской одежды, которая у портных зовется гульфик, и зашевелил губами еще внимательнее. Был у него очень смешной, маленький, круглый подбородок, похожий на морского ежа.

– Не удивляйтесь, – сказал Зак. – Он в буквальном смысле неуч: как придет в гости, так сразу берет что-нибудь и читает.

Бахман вдруг почувствовал, что все смотрят на него. Он медленно повернул лицо и, подняв растрепанные брови, улыбнулся чудесной, робкой улыбкой, от которой по всему лицу разбежались мягкие морщинки.

Хозяйка поспешила к нему:

– Мсье Бахман, позвольте вам презентовать еще одну из ваших поклонниц – госпожу Перову.

Он сунул ей свою бескостную, сыроватую руку:

– Очень приятно, очень даже приятно...

И опять уткнулся в газету.

Перова отошла. Розоватые пятна выступили у нее на скулах. От радостного движения черного, блестящего стеклярусом веера затрепетали светлые завитки на висках. Зак мне потом рассказывал, что в тот первый вечер она произвела на него впечатление необыкновенно темпераментной – как он выразился, – необыкновенно издерганной женщины, даром что губы и прическа были у нее такие строгие.

– Эти двое друг друга стоили, – передавал он мне со вздохом. – Бахман-то, и говорить нечего, совершенно был лишен мозгов. А главное – пил, знаете. В тот вечер, когда они встретились, мне пришлось быстро – прямо-таки на крыльях – увести его, так как он вдруг потребовал коньяку, – а ему нельзя было, нельзя было. Мы же просили его: пять дней не пей, только пять дней, – то есть пять концертов, вы понимаете... Ангажемент, Бахман, держись... Что вы думаете, ведь даже какой-то пиит в юмористическом журнале срифмовал «У стойки» и «Неустойки». Мы буквально из сил выбивались. И притом – капризный, знаете, фантастичный, грязненький. Совершенно ненормальный субъект. Но играл...

И Зак молча закатывал глаза, тряся поредевшей гривой.

Просматривая с господином Заком тяжелый, как гроб, альбом газетных вырезок, я убедился, что именно тогда, во дни первых встреч Бахмана с Перовой, началась настоящая, мировая – но какая короткая – слава этого удивительного человека. Когда и где Перова сошлась с ним – этого никто не знает. Но после вечера у приятельницы Перова стала бывать на всех концертах Бахмана, в каком бы городе они ни давались. Сидела она всегда в первом ряду, – прямая, гладко причесанная, в черном открытом платье. Некоторые ее называли так: хромая мадонна.

Бахман выходил на эстраду быстро – как будто вырвавшись из вражеских или просто надоедливых рук. Не глядя на публику, он подбегал к роялю и, нагнувшись над круглым стулом, принимался нежно вращать деревянный диск сиденья, отыскивая какую-то математическую точку высоты. При этом он убедительно и тихо ворковал, усовещевая стул на трех языках. Возился он так довольно долго. В Англии это умиляло публику, во Франции смешило, в Германии – раздражало. Найдя точку, Бахман легонько и ласково хлопал ладонью по стулу – и садился, нашаривая педали подошвами старых лакированных туфель. Потом доставал просторный несвежий платок и, тщательно вытирая им руки, оглядывал с лукавой и вместе с тем робкой улыбкой первый ряд. Наконец он мягко опускал руки на клавиши. Но вдруг вздрагивал страдальческий живчик под глазом: цокнув языком, он сползал со стула и снова принимался вращать нежно скрипящее сиденье.

Зак думает, что, в первый раз прослушав Бахмана и вернувшись к себе домой, Перова села у окна и просидела так до зари, вздыхая и улыбаясь. Он уверяет, что еще никогда Бахман так хорошо, так безумно не играл и что потом, с каждым разом, он играл все лучше и все безумнее. С несравненным искусством Бахман скликал и разрешал голоса контрапункта, вызывал диссонирующими аккордами впечатление дивных гармоний и – в тройной фуге преследовал тему, изящно и страстно с нею играя, как кот с мышью, – притворялся, что выпустил ее, и вдруг, с хитрой улыбкой нагнувшись над клавишами, настигал ее ликующим ударом рук.

Потом, когда его ангажемент в том городе кончился, он, как всегда, на несколько дней исчез, запил.

Посетители сомнительных кабачков, ядовито пылавших в тумане угрюмого предместья, видели плотного низенького господина с растрепанной плешью и глазами, мокрыми, розовыми, как язвы, который садился всегда в сторонку, но охотно угощал каждого, кто пристанет к нему. Старичок-настройщик, давно погибший человек, несколько раз повыпив с ним, решил, что это брат по ремеслу, ибо Бахман, опьянев, барабанил пальцем по столу и тонким голосом брал очень точное «ля». Случалось, что скуластая деловитая проститутка уводила его к себе. Случалось, что он вырывал у кабацкого скрипача инструмент, топтал его и был за это бит. Знакомился он с картежниками, матросами, атлетами, нажившими себе грыжу, – а также с цехом тихих, учтивых воров.

Ночами напролет Зак и Перова его разыскивали. Впрочем, Зак искал только тогда, когда нужно было «завинтить» его – то есть приготовить к концерту. Иногда находили, иногда же, осоловевший, грязный, без воротника, он сам являлся к Перовой; она молча и ласково укладывала его спать и только через два-три дня звонила Заку, что Бахман найден.

В нем сочеталась какая-то неземная робость с озорством испорченного ребенка. С Перовой он почти не говорил. Когда она увещевала его, брала за руки, он вырывался, хлопал ее по пальцам, пискливо вскрикивая, словно легчайшее прикосновение причиняло ему раздражительную боль, и потом долго плакал, накрывшись одеялом. Появлялся Зак, говорил: надо ехать в Лондон, в Рим, – и Бахмана увозили.

Три года продолжалась их странная связь. Когда Бахмана, кое-как освеженного, подавали публике, Перова неизменно сидела в первом ряду. Во время далеких гастролей они останавливались в смежных номерах. Несколько раз за это время Перова видалась с мужем. Он, конечно, знал, как знали все, об ее восторженной и верной страсти, но не мешал, жил своею жизнью.

– Бахман мучил ее, – настойчиво повторял мне господин Зак. – Непонятно, как она могла его любить. Тайна женского сердца! Я видел собственными глазами, как в одном доме, где они были вместе, маэстро вдруг защелкал на нее зубами, как обезьяна, и знаете – за что? Она хотела ему поправить галстук. Но играл он в те дни гениально. К тому времени относится его симфония D-моль и несколько сложных фуг. Никто не видел, как он писал их. Самая интересная – так называемая «Золотая фуга». Слыхали? Тематизм в ней совершенно своеобразный. Но я говорил об его капризах, об его растущем помешательстве. Ну так вот. Прошло, значит, два года. И вот однажды в Мюнхене, где он выступал – И Зак, подходя к концу своего рассказа, все печальнее, все внушительнее шурился.

Оказывается, что в ночь приезда в Мюнхен Бахман удрал из гостиницы, где, как обычно, он остановился вместе с Перовой. Через три дня должен был состояться концерт, и потому Зак находился в истерической тревоге. Поиски ни к чему не привели. Дело было поздней осенью, хлестал холодный дождь. Перова простудилась и слегла. Зак с двумя сыщиками продолжал исследовать кабаки.

В день концерта позвонили из полиции, что Бахман найден. Он был ночью подобран на улице и в участке отлично выспался. Зак молча повез его из участка в театр, сдал его там, как вещь, своим помощникам, а сам поехал в гостиницу за фракком. Перовой через дверь он доложил о случившемся. Потом вернулся в театр.

Бахман, надвинув на брови черную фетровую шляпу, сидел в артистической и печально стучал пальцем по столу. Вокруг него суетливо шептались. Через час в огромной зале публика стала занимать места. Светлая белая эстрада, с лепными украшениями по бокам в виде органичных труб, и блестящий черный рояль, поднявший крыло, и скромный гриб стула ожидали в торжественной праздности человека с мокрыми мягкими руками, который сейчас наполнит ураганом звуков и рояль, и эстраду, и огромный зал, где, как бледные черви, двигались, лоснились женские плечи и мужские лысины.

И вот Бахман вбежал. Не обратив внимания на грохот приветствий, поднявшийся как плотный конус и рассыпавшийся на отдельные потухающие хлопки, он стал вращать, жадно воркуя, деревянный диск стула и, погладив его, сел за рояль. Вытирая платком руки, он робкой улыбкой окинул первый ряд. Внезапно улыбка исчезла, и Бахман поморщился. Платок упал на пол. Он опять внимательно скользнул глазами по лицам; глаза его споткнулись на пустом месте посередине ряда. Тогда Бахман захлопнул крышку, встал, вышел вперед, к самому краю эстрады, и, закатив глаза, подняв, как балерина, согнутые руки, сделал два-три нелепых па. Публика застыла. В глубине вспыхнул смех. Бахман остановился, что-то проговорил, чего никто не расслышал, и затем широким дугообразным движением показал всему залу кукиш.

– Это произошло так внезапно, – рассказывал мне Зак, – что я просто не успел прилететь на помощь. Я столкнулся с ним, когда после фиги – фиги вместо фуги – он удалялся со сцены. Я спросил: Бахман, куда? Он сказал нехорошее слово и шмыгнул в артистическую.

Тогда Зак сам вышел на эстраду, – и встречен был бурей гнева и гогота. Он выставил вперед ладонь и, добившись молчания, твердо обещал, что концерт состоится. Когда он вернулся в артистическую, то увидел, что Бахман как ни в чем не бывало сидит у стола и, шевеля губами, читает программку.

Зак, взглянув на присутствующих и значительно поведя бровью, метнулся к телефону и позвонил Перовой. Он долго не мог добиться ответа; наконец что-то щелкнуло, и донесся ее слабый голос.

– Приезжайте сию же минуту, – затараторил Зак, стуча ребром руки по телефонному фолианту. – Бахман без вас не хочет играть. Ужасный скандал! Публика начинает – что вы? – да-да, – я же говорю: не хочет. Алло! А, чорт! Разъединили...

У Перовой был сильный жар. Доктор, посетивший ее в этот день дважды, с недоумением смотрел на ртуть, так высоко поднявшуюся по красным ступенькам в горячем стеклянном столбике. Повесив телефонную трубку – аппарат стоял у постели, – она, вероятно, радостно улыбнулась. Дрожа и покачиваясь, принялась одеваться. Нестерпимо колото в груди, но сквозь туман и жужжанье жара звала радость. Мне почему-то кажется, что, когда она стала натягивать чулки, шелк цеплялся за ногти ее холодных ног. Кое-как причесавшись, запахнувшись в коричневую шубу, она, звякая тростью, вышла, велела швейцару кликнуть таксомотор. Черный асфальт блестел. Ручка автомобильной дверцы была ледяная и мокрая. Всю дорогу она, верно, улыбалась смутной и счастливой улыбкой, – и шум мотора и шипение шин сливались с жарким жужжанием в висках. Когда подъехала к театру, то увидела: толпы людей, открывая на ходу сердитые зонтики, вываливаются на улицу. Ее чуть не сшибли с ног. Протиснулась. В артистической Зак ходил взад и вперед, хватая себя то за левую щеку, то за правую.

– Я был в состоянии бешенства! – рассказывал он мне. – Пока я бился у телефона, маэстро бежал. Сказал, что идет в уборную, и улизнул. Когда Перова приехала, я набросился на нее – зачем не сидела в театре. Понимаете, я абсолютно упустил из виду, что она больна. Спрашивает: «Так, значит, он сейчас дома? Значит, мы разъехались?» А я был в состоянии бешенства и кричу: «Какое там, чорт, дома! В кабаке. В кабаке. В кабаке!» Потом я махнул рукой и убежал. Нужно было спасти кассира.

И Перова, дрожа и улыбаясь, поехала разыскивать Бахмана. Она знала приблизительно, где искать его, и туда-то, в темный, страшный квартал, повез ее удивленный шофер. Доехав до той улицы, где, по словам Зака, накануне нашли Бахмана, она отпустила таксомотор и, постукивая тростью, пошла по щербатой панели, под косыми потоками черного дождя. Заходила она подряд во все кабаки, – взрывы грубой музыки оглушали ее, мужчины к ней нагло поворачивались, – она оглядывала дымное, кружась, разноцветное зальце и опять выходила в хлещущую ночь. Вскоре ей стало казаться, что она заходит все в один и тот же кабак, и мучительная слабость легла ей на плечи. Она шла, хромя и чуть слышно мыча, зажав в озябшей руке бирюзовую шишку трости. Полицейский, некоторое время следивший за ней, подошел

медленными профессиональными шагами, спросил ее адрес; властно и мягко подвел ее к черному ландо ночного извозчика. В зловонном, ухающем сумраке ландо она потеряла сознание, и, когда очнулась, дверца была открыта и кучер, в блестящей клеенчатой накидке, концом кнутовища легонько тыкал ее в плечо. Потом, когда она очутилась в теплом коридоре, ее охватило чувство полного равнодушия ко всему. Она толкнула дверь своего номера, вошла. Бахман, босой, в ночной рубаше под холмом клетчатого одеяла, накинутого на плечи, сидел у нее на постели и, барабанил двумя пальцами по мраморной доске ночного столика, ставил химическим карандашом точки на листке нотной бумаги. Он был так поглощен этим, что не заметил, как отворилась дверь. Перова испустила легкий, ахающий стон. Бахман встрепенулся. Одеяло поползло с его плеча.

Я думаю, это была единственная счастливая ночь во всей жизни Перовой. Думаю, что эти двое, полоумный музыкант и умирающая женщина, нашли в эту ночь слова, какие не снились величайшим поэтам мира. Когда, на следующее утро, негодующий Зак явился в гостиницу, он нашел Бахмана, глядевшего с восторженной, тихой улыбкой на Перову, которая лежала без сознания под клетчатым одеялом поперек широкой постели. Неизвестно, о чем думал Бахман, глядя на пылающее лицо подруги и слушая ее судорожное дыхание; вероятно, он понимал по своему волнение ее тела, трепет и жар болезни, мысль о которой не приходила ему в голову. Зак вызвал доктора. Бахман сперва недоверчиво, с робкой улыбкой глядел на них, потом вцепился доктору в плечо, отбежал, хлопнул себя по лбу и заметался, лязгая зубами. Она умерла в тот же день, не приходя в сознание. Выражение счастья так и не сошло у нее с лица. На ночном столике Зак нашел скомканную страницу нотной бумаги, но фиолетовые точки музыки, рассыпанные по ней, никто не мог разобрать.

– Я увез его сразу, – рассказывал мне Зак, – я боялся приезда мужа, сами понимаете. Бедняга Бахман, он был как тряпочка и все затыкал себе уши. Вскрикивал, как будто его щекотали: «Не надо звуков, звуков не надо!..» Я не знаю, собственно, что потрясло его так: между нами говоря, он никогда не любил этой несчастной женщины. Как-никак она погубила его. Бахман после похорон исчез бесследно. Теперь вы еще найдете его имя в объявлениях пианольных фирм, но вообще-то он забыт. Только через шесть лет нас снова столкнула судьба. На один момент. Я ждал поезда на маленькой станции в Швейцарии. Был, помню, роскошный вечер. Я был не один. Да, – женщина. Но это уже из личной оперы. И вот, представьте себе, вижу, собралась небольшая толпа, окружила человека, – низенького роста, в черном пальтишке, в черной шляпе. Он совал монету в щелку музыкального автомата и при этом плакал навзрыд. Сунет, послушает мелкую музыку и плачет. Потом что-то испортилось. Монета застряла. Он стал расшатывать ящик, громче заплакал, бросил, ушел. Я узнал его сразу, – но, понимаете, я был не один, с дамой, кругом народ, любопытные, – неудобно было подойти, сказать: «Здравствуй, Бахман...»

Дракон

Он жил безвыходно во мгле глубокой пещеры, в самом сердце скалистой горы, где вся его пища состояла из летучих мышей, крыс да плесени. Иногда, правда, в пещеру заглядывали искатели сталактитов, пронырливые путешественники, – и это было вкусно. Приятно также было вспомнить разбойника, пытавшегося спастись там от правосудия, и двух собак, которых однажды пустили туда, чтобы проверить: не сквозной ли это ход через всю горную тропу. Природа кругом была дикая, на скалах там и сям лежал ноздреватый снег, холодным грохотом гремели водопады. Вылупился он около тысячи лет тому назад, – и, быть может, потому, что это случилось несколько внезапно, – огромное яйцо расколол в бурную ночь удар молнии, – дракон вышел трусливый и глуповатый. Кроме того, сильно на него повлияла смерть матери... Она давно наводила ужас на соседние селения, харкала пламенем, король сердился, у логовища ее постоянно рыскали рыцари, которых она разгрызала, как орехи. Но однажды, когда проглотив жирного королевского повара, она уснула на согретой солнцем скале, к ней подкакал сам великий Ганон в железных латах, на вороном коне под серебряной сеткой. Бедняжка спросонья взвилась на дыбы, вспыхнув кострами зеленых и красных горбов, – и рыцарь, налетев, вдвинул стремительное копьё в ее гладкую, белую грудь, – она рухнула, и тотчас же из розовой раны вылез боком толстый повар с ее огромным, дымящимся сердцем под мышкой.

Молодой дракон все это видел, спрятавшись за скалу, и с тех пор не мог без содроганья думать о рыцарях. Он удалился в глубину пещеры, никуда оттуда не выглядывал. Так прошло десять веков – двадцать драконьих лет.

И вдруг он стал тосковать нестерпимо... Дело в том, что несвежая пещерная пища вызывала жесточайшие желудочные тревоги, противное урчанье и боль. Девять лет он рещался и на десятый год решился. Медленно и осторожно, вбирая и расправляя кольца хвоста, он вылез из своей пещеры.

И сразу почувствовал: весна. Черные скалы, омытые недавним ливнем, блистали, в разливе горного потока кипело солнце, в воздухе пахло дичью. И дракон, широко раздувая горящие ноздри, стал спускаться в долину. При этом его атласистый, белый, как водяная лилия, живот почти касался земли, на раздутых зеленых боках выступали багровые подтеки, и крепкая чешуя переходила на спине в острый пожар – в хребет двойных рдяных горбов, уменьшавшихся к хвосту, который мощно и гибко шевелился. Голова была гладкая, зеленоватая, пузыри огненной слизи свисали с нижней губы, мягкой и бородавчатой, – и исполинские чешуйчатые лапы оставляли глубокие следы, звездообразные ямы. Спустившись в долину, первое, что увидел он, был поезд, бегущий вдоль скалистых скатов.

Дракон сперва обрадовался, приняв поезд за родственника, с которым можно поиграть; к тому же он подумал, что под блестящей, твердой на вид роговиной кроется нежное мясо. Поэтому он пустился вдогонку, гулко и сыро шлепая ступнями, но только хотел хапнуть последний вагон, как поезд влетел в туннель. Дракон остановился, сунул голову в черную нору, куда ушла добыча; пролезть было невозможно. Он раза два жарко чихнул в глубину, выбрал голову и, сев на задние лапы, принялся ждать – авось опять выбежит. Прождав некоторое время, он мотнул головой и отправился дальше. В это мгновение из черной норы выскочил поезд, хитро блеснул стеклами и скрылся за поворот. Дракон обиженно посмотрел через плечо и, подняв хвост трубой, продолжал свой путь.

Вечерело. Над полями плыл туман. Исполинского зверя, живую гору, видели крестьяне, возвращавшиеся домой, и, ошалев, застыли, – а у маленького автомобиля, мчавшегося по шоссе, со страху лопнули сразу все четыре шины, и, подпрыгнув, он угодил в канаву. Но дракон все шел и шел, ничего не замечая; издали тянуло горячим запахом сосредоточенных челове-

ческих толп – и туда-то он и стремился. И вот на широкой синеве ночного неба выросли перед ним черные фабричные трубы, стерегущие большой фабричный город.

Главными лицами в этом городе были двое: владелец табачной фирмы «Чудо» и владелец табачной фирмы «Большой шлем». Между ними горела давняя изощренная вражда, о которой можно было бы написать целую эпическую поэму. Соперничали они во всем: в пестроте реклам, в приемах их распространения, в ценах, в отношении к рабочим, – но никто не мог определенно сказать, на чьей стороне перевес.

В ту знаменательную ночь владелец фирмы «Чудо» очень поздно засиделся у себя в конторе. Рядом на столе лежала кипа новых, только что отпечатанных реклам, которые на рассвете артельщики должны были расклеить по городу.

Вдруг в тишине ночи пролетел звонок, и через несколько мгновений вошел тощий бледный человек с бородавкой вроде репейника на правой щеке. Фабрикант его знал: это был содержатель образцового кабака на окраине, сооруженного фирмой «Чудо».

– Второй час, мой друг. Ваш приход могу оправдать только событием неслыханной важности.

– Так оно и есть, – сказал кабатчик спокойным голосом, хотя бородавка его прыгала. И он рассказал следующее.

Он выпроваживал из кабака пятерых старых рабочих, в лоск пьяных. Выйдя на улицу, они, вероятно, увидели нечто весьма любопытное, ибо все рассмеялись.

– О-го-го, – загрохотал голос одного из них. – Я, должно быть, выпил лишнего, если вижу наяву гидру контрр...

Он не успел закончить. Нахлынул страшный, тяжелый шум, кто-то крикнул, кабатчик выглянул. Чудовище, поблескивающее во мраке, как мокрая гора, глотало, закинув морду, что-то крупное, отчего белесая шея его вздувалась переливающимися буграми; проглотив, оно облизнулось, качнулось всем телом и мягко опустилось посреди улицы.

– Я думаю, оно задремало, – досказал кабатчик, остановив пальцем прыгающую бородавку.

Фабрикант встал. Вдохновенным золотым огнем брызнули его крепкие пломбы. Появление живого дракона никаких других чувств в нем не возбудило, кроме страстного желания, которым он во всем руководился: победить вражескую фирму.

– Эврика! – воскликнул он. – Вот что, дорогой друг, есть ли еще свидетели?

– Не думаю, – отвечал кабатчик. – Все спали, и я решил никого не будить и прямо пошел к вам. Во избежание паники.

Фабрикант надел шляпу.

– Отлично. Берите вот это, – нет, не всю кучу, – листов тридцать-сорок; и вот эту банку захватите, да, – и кисть тоже. Так. Теперь ведите меня.

Они вышли в темную ночь и скоро добрались до тихой улицы, в конце которой, по словам кабатчика, лежало чудовище. При свете одинокого желтого фонаря они сперва увидели полицейского, стоявшего на голове среди мостовой. Впоследствии оказалось, что, совершая свой ночной дозор, он наткнулся на дракона и так испугался, что перевернулся и окаменел. Фабрикант, человек рослый и сильный, как горилла, поставил его прямо и прислонил к фонарному столбу; затем подошел к дракону. Дракон спал, да и немудрено. Проглоченные им лица оказались насквозь пропитанные вином и сочно лопнули у него в пасти. Хмель натошак бросился ему в голову, и, блаженно улыбувшись, он опустил пленки век. Лежал он на брюхе, подогнув передние лапы, и свет фонаря выхватывал блестящие дуги его двойных горбов.

– Поставьте лесенку, – сказал фабрикант кабатчику. – Я сам буду клеить.

И, не торопясь, выбирая ровные места на склизких, зеленых боках чудовища, он стал мазать кистью по чешуйчатой коже и прижимать к ней просторные листы реклам. Используя

все листы, он значительно пожал руку смелому кабатчику и, пожеывая сигару, вернулся к себе домой.

Настало утро, великолепное, весеннее утро, смягченное сиреневой поволокой. И внезапно на улицах поднялся веселый взволнованный шум, зазвенели двери, оконные рамы, люди высыпали на двор, мешаясь с теми, которые смеялись и стремились куда-то. Там, вяло шлепая по асфальту, шествовал дракон, совершенно как живой, весь оклеенный цветистыми рекламами. Одна из них даже прилипла к его гладкому темени. «Курите только „Чудо“», – ликовали синие и пунцовые буквы реклам. «Кто не курит моих папирос – дурак». «Табак „Чудо“ превращает воздух в мед». «Чудо» – «Чудо» – «Чудо»!

– Действительно – чудо! – смеялась толпа. – И как это устроено – машина или люди?

Дракон чувствовал себя отвратительно после невольной попойки. От этого скверного вина его теперь поташнивало, во всем теле была слабость, и о завтраке нечего было и думать. К тому же им теперь овладел острый стыд, мучительная робость существа, впервые попавшего в толпу. По совести говоря, ему очень хотелось поскорее вернуться к себе в пещеру, но это было бы еще стыднее, – и потому он продолжал мрачно шествовать через город. Несколько человек с плакатами на спинах охраняли его от любопытных – от мальчишек, норовивших пройти под его белый живот, вскарабкаться на высокий хребет, тронуть морду. Играла музыка, из всех окон глазели люди, сзади дракона гуськом ехали автомобили, в одном из них сидел, развалясь, фабрикант – герой дня.

Дракон шел, ни на кого не глядя, смущенный тем непонятным весельем, которое он вызывал.

А в светлом кабинете, по мягкому, как мох, ковру шагал взад и вперед, сжимая кулаки, другой фабрикант – владелец фирмы «Большой шлем». У открытого окна, глядя на шествие, стояла его подруга, маленькая канатная плясунья.

– Это возмутительно! – кричал фабрикант – пожилой лысый человек с сизыми мешками дряблой кожи под глазами. – Полиция должна была бы прекратить такое безобразие... И когда он успел смастерить это чучело?

– Ральф! – воскликнула вдруг плясунья, хлопнув в ладони. – Я знаю, что ты должен сделать. У нас в цирке идет номер «Турнир», и вот...

Она жарким шепотом, тараща подведенные кукольные глаза, рассказала ему свой план. Фабрикант просиял. Через мгновение он уже говорил по телефону с директором цирка.

– Так, – сказал фабрикант, повесив трубку. – Чучело-то из надутой резины. Посмотрим, что останется от него, если ткнуть его хорошенько...

Дракон меж тем прошел через мост, мимо базара, мимо готического собора, возбудившего в нем неприятнейшие воспоминания, затем по главному бульвару, и переходил через широкую площадь, когда, рассекая толпу, навстречу ему внезапно явился рыцарь. Рыцарь был в железных латах, с опущенным забралом, с траурным пером на шлеме, и лошадь его была тяжелая, вороная, в серебряной сетке. Оруженосцы – женщины, одетые пажами, – шли рядом – на картинных, наскоро сделанных знаменах стояло: «Большой шлем», «Курите только „Большой шлем“», «„Большой Шлем“ побеждает всех». Цирковой наездник, изображавший рыцаря, дал шпоры коню и крепче сжал копьё. Но конь почему-то стал пятиться, брызгал пеной, и вдруг встал на дыбы и тяжело сел на задние ноги. Рыцарь бухнулся на асфальт, так загремев, словно выбросили из окна всю кухонную посуду. Но дракон не видел этого. При первом движении рыцаря он внезапно остановился, потом стремительно повернул, причем сшиб ударом хвоста двух любопытных старушек, стоявших на балконе, – и, давя рассыпающихся людей, пустился в бегство. Одним духом он выбежал из города, понесся полями, вскарабкался по скалистым скатам и влетел в свою бездонную пещеру. Там он свалился навзничь, согнув лапы и показывая темным сводам свое атласистое, белое, вздрагивающее брюхо, глубоко вздохнул и, закрыв удивленные глаза, – умер.

Рождество

I

Вернувшись по вечеряющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на низкий плюшевый стул, на котором он не сживал никогда. Так бывает после больших несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя, подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами, ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел Слепцов.

Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – с главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согреть его, хозяин приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где белые изразцовые печки истопить – дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбритый себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, усыпан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, острями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строенье. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнулся с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука

тербит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милые, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всю жизнь наполненный, гроб в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова, – каждый удар звонко отпрыгивал в небо, – а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

III

После обеда он поехал туда – в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубишной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимы следы его быстрых сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась и пахло каким-то особенным, не зимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, – и громадная тень Слепцова, медленно вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя – чуть коптящая лампа – и скользнуло его большое, бородатое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкаф вроде конторского, с выдвигаемыми ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок – кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкафа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли – нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки,

рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.

IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья – груды серого инея – отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

– Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

– Праздничек завтра.

– Не надо, убери... – поморщился Слепцов, и сам подумал: «Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?»

Иван мягко настаивал:

– Зеленая. Пускай постоит...

– Пожалуйста, убери, – повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: «Ходил по болоту до Боровичей...», «Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую „Фрегат Палладу“», «Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел...».

Слепцов поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын пишет?

«Ездил, как всегда, на велосипеде», – стояло дальше. «Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость...»

– Это невысказано, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю...

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающийся на полях.

«Сегодня – первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую...»

«Он ничего не говорил мне...» – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером; слон – как видишь его сзади – две толстых тумбы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

– Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее: – Не – могу – больше...

«Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...»

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

– ...Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унижительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...

И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугий шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепи, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, еще влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши – громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темно-бархатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

Письмо в Россию

Друг мой далекий и прелестный, стало быть, ты ничего не забыла за эти восемь с лишком лет разлуки, если помнишь даже седых, в лазоревых ливреях, сторожей, вовсе нам не мешавших, когда, бывало, морозным петербургским утром встречались мы в пыльном, маленьком, похожем на табакерку музее Суворова. Как славно целовались мы за спиной воскового гренадера! А потом, когда выходили из этих старинных сумерек, как обжигали нас серебряные пожары Таврического сада и бодрое, жадное гаканье солдата, бросавшегося по команде вперед, скользившего на гололедице, втыкавшего с размаху штык в соломенный живот чучела, посредине улицы.

Странно: я сам решил, в предыдущем письме к тебе, не вспоминать, не говорить о прошлом, особенно о мелочах прошлого; ведь нам, писателям, должна быть свойственна возвышенная стыдливость слова, а меж тем я сразу же, с первых же строк, пренебрегаю правом прекрасного несовершенства, оглушаю эпитетами воспоминание, которого коснулась ты так легко. Не о прошлом, друг мой, я хочу тебе рассказывать.

Сейчас – ночь. Ночью особенно чувствуешь неподвижность предметов – лампы, мебели, портретов на столе. Изредка за стеной в водопроводе всхлипывает, переливается вода, подступая как бы к горлу дома. Ночью я выхожу погулять. В сыром, смазанном черным салом берлинском асфальте текут отблески фонарей; в складках черного асфальта – лужи; кое-где горит гранатовый огонек над ящиком пожарного сигнала, дома – как туманы, на трамвайной остановке стоит стеклянный, налитый желтым светом столб, – и почему-то так хорошо и грустно делается мне, когда в поздний час пролетает, визжа на повороте, трамвайный вагон – пустой: отчетливо видны сквозь окна освещенные коричневые лавки, меж которых проходит против движения, пошатываясь, одинокий, словно слегка пьяный, кондуктор с черным кошельком на боку.

Странствуя по тихой, темной улице, я люблю слушать, как человек возвращается домой. Сам человек не виден в темноте, да и никогда нельзя знать наперед, какая именно парадная дверь оживет, со скрежетом примет ключ, распахнется, замрет на блоке, захлопнется; ключ с внутренней стороны заскрежетает снова, и в глубине, за дверным стеклом, засияет на одну удивительную минуту мягкий свет.

Прокатывает автомобиль на столбах мокрого блеска – сам черный, с желтой полоской под окнами, – сыро трубит в ухо ночи, и его тень проходит у меня под ногами. Теперь уже совсем пуста улица. Только старый дог, стуча когтями по панели, нехотя водит гулять вялую, милую девичью, без шляпы, под зонтиком. Когда проходит она под красным огоньком, который висит слева, над пожарным сигналом, одна тугая черная доля зонтика влажно багровеет.

А за поворотом, над сырой панелью, – так неожиданно! – бриллиантами зыблется стена кинематографа. Там увидишь на прямоугольном, светлом, как луна, полотне более или менее искусно дрессированных людей; и вот с полотна приближается, растет, смотрит в темную залу громадное женское лицо с губами, черными, в блестящих трещинках, с серыми мерцающими глазами, – и чудесная глицериновая слеза, продолговато светясь, стекает по щеке. А иногда появится – и это, разумеется, божественно – сама жизнь, которая не знает, что снимают ее, – случайная толпа, сияющие воды, беззвучно, но зримо шумящее дерево.

Дальше, на углу площади, высокая, полная проститутка в черных мехах медленно гуляет взад и вперед, останавливаясь порой перед грубо озаренной витриной, где подрумяненная восковая дама показывает ночным зевакам свое изумрудное текучее платье, блестящий шелк персиковых чулок. Я люблю видеть, как к этой пожилой, спокойной блуднице подходит, предварительно обогнав ее и дважды обернувшись, немолодой, усатый господин, утром приехавший из Папенбурга. Она неторопливо поведет его в меблированные комнаты, в один из ближних

домов, которого днем никак не отыщешь среди остальных, таких же обыкновенных. За входной дверью равнодушный, вежливый привратник сторожит всю ночь в неосвещенных сенях. А наверху, на пятом этаже, такая же равнодушная старуха мудро отопрет свободную комнату, спокойно примет плату.

А знаешь ли, с каким великолепным грохотом промахивает через мост, над улицей, освещенный, хохочущий всеми окнами своими поезд? Вероятно, он дальше предместья не ходит, но мрак под черным сводом моста полон в это мгновение такой могучей чугунной музыки, что я невольно воображаю теплые страны, куда укачу, как только добуду те лишние сто марок, о которых мечтаю – так благодушно, так беззаботно.

Я так беззаботен, что даже иногда люблю посмотреть, как в здешних кабачках танцуют. Многие тут с негодованием (и в таком негодовании есть удовольствие) кричат о модных безобразиях, в частности о современных танцах, – а ведь мода – это творчество человеческой посредственности, известный уровень, пошлость равенства, – и кричать о ней, бранить ее – значит признавать, что посредственность может создать что-то такое (будь то образ государственного правления или новый вид прически), о чем стоило бы пошуметь. И разумеется, эти-то наши, будто бы модные, танцы на самом деле вовсе не новые: увлекались ими во дни Директории, благо и тогдашние женские платья были тоже нательные, и оркестры тоже – негритянские. Мода через века дышит: купол кринолина в середине прошлого века – это полный вздох моды, потом опять выдох, – сужающиеся юбки, тесные танцы. В конце концов, наши танцы очень естественны и довольно невинны, а иногда – в лондонских бальных залах – совершенно изящны в своем однообразии. Помнишь, как Пушкин написал о вальсе: «однообразный и безумный». Ведь это все то же. Что же касается падения нравов... Знаешь ли, что я нашел в записках господина д'Агрикура? «Я ничего не видал более развратного, чем менуэт, который у нас изволят танцевать».

И вот, в здешних кабачках я люблю глядеть, как «чета мелькает за четой», как играют простым человеческим весельем забавно подведенные глаза, как переступают, касаясь друг друга, черные и светлые ноги, – а за дверью – моя верная, моя одинокая ночь, влажные отблески, гудки автомобилей, порывы высокого ветра.

В такую ночь на православном кладбище, далеко за городом, покончила с собой на могиле недавно умершего мужа семидесятилетняя старушка. Утром я случайно побывал там, и сторож, тяжкий калека на костылях, скрипевших при каждом размахе тела, показал мне белый невысокий крест, на котором старушка повесилась, и приставшие желтые ниточки там, где натерла веревка («новенькая», сказал он мягко). Но таинственнее и прелестнее всего были серповидные следы, оставленные ее маленькими, словно детскими, каблучками в сырой земле у подножья. «Потопталась маленько, а так – чисто», – заметил спокойно сторож, – и, взглянув на ниточки, на ямки, я вдруг понял, что есть детская улыбка в смерти.

Быть может, друг мой, и пишу я все это письмо только для того, чтобы рассказать тебе об этой легкой и нежной смерти. Так разрешилась берлинская ночь.

Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое – вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала, – рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы, – я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, – школьники будут скучать над историей наших потрясений, – все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, – в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество.

Драка

1

По утрам, если солнце приглашало меня, я ездил за город купаться. У конечной остановки трамвая, на зеленой скамье, проводники – коренастые, в огромных тупых сапогах – отдыхали, вкусно покуривая, и потирали изредка тяжелые, пропахнувшие металлом руки, глядя, как рядом, вдоль самых рельс, человек в мокром фартуке поливает цветущий шиповник, как вода серебряным гибким веером хлещет из блестящей кишки, то летая на солнце, то наклоняясь плавно над трепещущими кустами. Я проходил мимо них, зажав под мышкой свернутое полотенце, быстрым шагом направлялся к опушке леса; там частые и тонкие стволы сосен, шероховато-бурые внизу, телесного цвета повыше, были испещрены мелкими тенями, и на чахлой траве под ними валялись, как бы дополняя друг друга, лоскутки солнца и лоскутки газет. Внезапно небо весело раздвигало стволы; по серым волнам песка я спускался к озеру, где вскрикивали да поеживались голоса купавшихся и мелькали по светлой глади темные поплавки голов. На пологом скате навзничь и ничком лежали тела всех оттенков солнечной масти – иные еще белые с розоватым крапом на лопатках, иные же жаркие, как медь или цвета крепкого кофе со сливками. Я освобождался от рубашки, и сразу со слепую нежностью наваливалось на меня солнце.

И каждое утро, ровно в девять, появлялся подле меня один и тот же человек. Это был колченогий пожилой немец в штанах и куртке полувоенного покроя, с большой лысой головой, выглаженной солнцем до красного лоску. Он приносил с собой черный, как старый ворон, зонтик и ладно схваченный тюк, который тотчас же делился на серое одеяло, купальную простыню и пачку газет. Одеяло он аккуратно раскладывал на песке и, оставшись в одних трусиках, зараннее надетых под штаны, преугодно на одеяле устраивался, прилаживал раскрытый зонтик за головой, чтобы тень падала только на лицо, и принимался за газеты.

Я искоса следил за ним, примечая темную, словно расчесанную шерсть на его крепких кривых ногах, пухловатое брюхо с глубоким пупом, глядящим, как глаз, в небо, – и очень мне было занятно гадать, кто этот человек, так благочестиво любивший солнце.

Мы валялись на песке часами. По небу текли волнующимся караваном летние облака – облака-верблюды, облака-шатры. Солнце старалось проскользнуть между них, но они находили на него ослепительным краем, воздух потухал, потом снова назревало сиянье, но первым озарялся не наш, а супротивный берег, – мы еще были в тени, ровной и бесцветной, а там ложился уже теплый свет, там тени сосен оживали на песке, вспыхивали вылепленные из солнца маленькие голые люди, – и внезапно, как счастливое, огромное око, открывалось сиянье и на нашей стороне. Тогда я вскакивал на ноги, серый песок мягко обжигал мне ступни, я бежал к воде, шумно в нее врезался. Хорошо потом высухат на угреве, чувствовать, как солнце вкрадчивыми устами жадно пьет прохладный бисер, оставшийся на теле.

Немец мой захлопывает зонтик и, осторожно вздрагивая кривыми икрами, в свой черед спускается к воде, где, по обычаю пожилых купальщиков омывши сначала голову, широким движением пускается в плавь. Продавец кислых леденцов проходит берегом, выкрикивая свой товар. Двое других в купальных костюмах быстро пронесут ведро с огурцами, – и соседи мои по солнцу, грубоватые, на диво сложенные молодцы, подхватывают короткие возгласы торговцев, искусно подражая им. Голый младенец, весь черный от сырого песка, прилипшего к нему, ковыляет мимо меня, и смешно прыгает мягкий клювик между неловких толстеньких ног. Рядом сидит его мать, полураздетая, миловидная, расчесывает, закусив шпильки, свои черные длинные волосы. А подальше, у самой опушки, коричневые юноши сильно играют в мяч, швы-

ряя его одной рукой, и оживает в этом движении бессмертный размах дискобола, и вот аттическим шорохом закипают на легком ветру сосны, и сдаётся мне, что весь мир, как вон тот большой и плотный мяч, перелетел дивной дугой обратно в охапку нагого языческого бога. И в это мгновение с каким-то эоловым возгласом всплывает над соснами аэроплан, и смуглый атлет, прервав игру, смотрит на небо, где к солнцу несутся два синих крыла, гуденье, восторг Дедала.

Мне хочется все это рассказать моему соседу, когда, тяжело дыша, скаля неровные зубы, он выходит из воды и ложится опять на песок. Но немецких слов у меня слишком мало, и только поэтому он не понимает меня, – зато улыбается мне всем существом, блеском лысины, черным пучком усов, веселым мясистым брюхом с тропкой шерсти, сбегающей посередке.

2

Мне профессия его открылась совсем случайно. Как-то в сумерки, когда глуше режут автомобили и по-южному горят в синем воздухе горки апельсинов на лотках, я забрел в далекий квартал и завернул в пивную утолить вечернюю жажду, столь знакомую городским бродягам. Мой веселый немец стоял за блестящей стойкой, пускал из крана толстую желтую струю, дощечкой срезал пену, пышно переливавшуюся через край. На стойку облокотился огромный тяжкий извозчик с седыми усищами и смотрел на кран, слушал пиво, шипевшее, как лошадиная моча. Подняв на меня глаза, хозяин дружелюбно ослабил, налил пива и мне, звонко кинул монету в ящик. Рядом мыла и вытирала стаканы, проворно скрипя тряпкой, девушка в клетчатом платье, светловолосая, с острыми розовыми локтями. В тот же вечер я узнал, что это его дочь, что зовут ее Эмма, а его самого – Краузе. Я сел в уголок и стал не спеша потягивать легкое, белогривое пиво, чуть отдававшее металлом. Кабачок был обычного типа – две-три питейных рекламы, олени рога, низкий темный потолок в гирляндах бумажных флажков, след какого-то фестиваля. Позади стойки на полках блестяли бутылки, повыше крупно тикали часы, старомодные, в виде шалашика с выскакивавшей кукушкой. Чугунная печка тянула свою кольчатую трубу вдоль стены и перегибалась в пестроту потолочных флажков. На голых крепких столах грязно белели картонные подставки для пивных кружек. У одного из них сонный мужчина с аппетитными складками жира на затылке и белозубый угрюмый парень, с виду наборщик или монтер, играли в кости.

Было хорошо, покойно. Часы, не торопясь, отламывали сухие дольки времени. Эмма позвякивала стеклом и все поглядывала в угол, где в узком зеркале, пересеченном золотыми литерами рекламы, отражался острый профиль монтера и рука его, поднявшая черную воронку с игральными костями.

На следующее утро я опять проходил мимо коренастых трамвайщиков, мимо веера воды, в котором дивно скользила радуга, и очутился опять на озерном берегу, где уже полеживал Краузе. Он высунул из-под зонтика потное лицо и заговорил – о воде, о зное. Я лег, зажмурился от солнца, и, когда открыл глаза, все кругом было голубое. Вдруг по береговой дороге, в пятнах солнца между сосен, прокатил небольшой фургон, за ним – полицейский на велосипеде. В фургоне билась, заливалась тонким рыдающим лаем пойманная собачонка. Краузе привстал, изо всех сил крикнул: «Осторожно! Ловец собак!» – и сразу кто-то подхватил этот крик, крик передавался из глотки в глотку, огибая круглое озеро, опережая ловца, и предупрежденные люди бросались к своим собакам, напяливали им намордники, нащелкивали привязи. Краузе с удовольствием прослушал удаляющиеся звучные повторения и добродушно мне подмигнул: «Так. Ни одной больше не схватит».

Я стал довольно часто заходить в его кабачок. Мне очень нравилась Эмма – ее голые локти и маленькое птичье лицо с пустыми и нежными глазами. Но особенно нравилось мне, как она глядела на своего любовника монтера, когда он лениво облокачивался на стойку. Я видел его сбоку – горестную злобную морщину у рта, горящий волчий глаз, синюю щетину на впалой,

давно не выбритой щеке. Она глядела на него с таким испугом и любовью, пока он, пристально впившись в нее взором, что-то тихо ей говорил, она так доверчиво кивала головой, полуоткрыв бледные губы, что мне в моем углу становилось восхитительно весело и легко, словно Бог подтвердил мне бессмертие души или гений похвалил мои книги. Я запомнил также мокрую от пивной пены руку монтера, большой палец этой руки, сжавший кружку, – громадный черный ноготь с трещиной посередке.

Последний раз, когда я побывал там, вечер, помнится, был душный, грозовой, потом поднялся вихрь, и на площади люди побежали к лестнице подземной станции: в пепельной мгле площади ветер рвал одежды, как на картине «Гибель Помпеи». Хозяину в тусклом кабачке было жарко, он расстегнул ворот и хмуро ужинал с двумя лавочниками. Было уже поздно, и по стеклам шуршал дождь, когда пришел монтер. Он вымок, продрог и с досадой пробормотал что-то, увидя, что нет Эммы за стойкой. Краузе молчал, жуя серую, как бульжник, колбасу.

И тут я почувствовал, что сейчас произойдет нечто удивительное. Я много выпил, и душа моя, жадное, глазастое мое нутро требовало зрелищ. Началось все очень просто. Монтер, подойдя к стойке, небрежно налил себе рюмку коньяку из клювастой бутылки, проглотил, отер губы кистью руки и, хлопнув себя по картузу, двинулся к двери. Краузе опустил крестом нож и вилку на тарелку и громко сказал:

– Стой! Двадцать пфеннигов.

Монтер, взявшись было за ручку двери, обернулся:

– Я полагаю, что я здесь у себя.

– Ты не заплатишь? – спросил Краузе.

Из глубины под часами вышла вдруг Эмма, посмотрела на отца, на любовника, замерла. Над ней из шалашика выскочила с писком кукушка и спряталась опять.

– Оставьте меня в покое, – медленно проговорил монтер и вышел вон.

Тогда Краузе с удивительной живостью кинулся за ним, рванул дверь. Допив остаток пива, я выбежал тоже: порыв сырого ветра приятно хлынул мне в лицо.

Они стояли друг против друга на черной, блестящей от дождя панели и оба орали – я не мог разобрать все слова в этом восходящем, рокочущем рыке, но одно слово отчетливо повторялось в нем: двадцать, двадцать, двадцать. Несколько людей уже остановились поглядеть на ссору, – я сам любовался ею, отблеском фонаря на искаженных лицах, напряженной жилой на шее Краузе, – и при этом мне вспомнилось почему-то, что однажды, в портовом притоне, я великолепно подрался с черным, как жук, итальянцем: рука моя оказалась у него во рту и яростно выжимала, старалась разорвать внутреннюю мокрую кожу его щеки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.